

ISSN 2313-061X

Научно-методический журнал

ВЕСТНИК

Издается с 2014 года

**3(47)
2025**

ВЛАДИМИРСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
ИМЕНИ АЛЕКСАНДРА ГРИГОРЬЕВИЧА
И НИКОЛАЯ ГРИГОРЬЕВИЧА СТОЛЕТОВЫХ

Социальные и гуманитарные науки

Учредитель

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Владимирский государственный университет
имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»

Издатель

Владимирский государственный университет
имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых

*Издание зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций
(Роскомнадзор)*

ПИ № ФС77-86391 от 11 декабря 2023

Журнал входит в систему РИНЦ
(Российский индекс научного цитирования) на платформе elibrary.ru

Вестник ВлГУ является рецензируемым и подписным изданием

Подписной индекс: 93515 в Объединенном каталоге «Пресса России»

ISSN 2313-061X

© ВлГУ, 2025

Корректор

О. В. Балашова

Верстка оригинал-макета

Л. В. Макаровой

Выпускающий редактор

А. А. Амирсейидова

Автор перевода

О. А. Селиверстова

кандидат филол. наук, доцент

*За точность и добросовестность
сведений, изложенных в статьях,
ответственность несут авторы*

Адрес учредителя:

600000, г. Владимир,

ул. Горького, 87

Владимирский государственный

университет имени Александра

Григорьевича и Николая Григорьевича

Столетовых

Адрес редакции: 600000,

г. Владимир, ул. Горького, 87, ВлГУ,

каб. 08-1

Подписано в печать 24.12.25

Заказ № 16913

Выход в свет 13.01.2026

Бесплатно

Формат 70×108/16

Усл. печ. л. 8,14

Тираж 500 экз.

Издательство

Владимирского государственного

университета имени Александра

Григорьевича и Николая Григорьевича

Столетовых

600000, г. Владимир, ул. Горького, 87

Отпечатано с готового

оригинал-макета

в типографии ООО «Аркаим».

600017, г. Владимир, ул. Кирова, 14 Г

Редакционная коллегия серии

«Социальные и гуманитарные науки»

<i>Е. М. Петровичева</i>	доктор ист. наук, профессор директор Гуманитарного института ВлГУ (главный редактор серии)
<i>Е. И. Аригин</i>	доктор филос. наук, профессор зав. кафедрой философии и религиоведения ВлГУ (зам. главного редактора серии)
<i>К. А. Аверьянов</i>	доктор ист. наук, профессор ведущий научный сотрудник ИРИ РАН
<i>А. Ю. Бендин</i>	доктор ист. наук профессор кафедры богословия Института теологии БГУ(Беларусь)
<i>И. Деретич</i>	доктор философии профессор кафедры философии Белградского университета (Сербия)
<i>М. П. Жигалова</i>	доктор пед. наук профессор кафедры лингвистических дисциплин и межкультурных коммуникаций Брестского государственного технического университета (Беларусь)
<i>Ю. В. Кривошеев</i>	доктор ист. наук, профессор зав. кафедрой исторического регионоведения СПбГУ
<i>Т. Л. Лабутина</i>	доктор ист. наук, профессор главный научный сотрудник Института всеобщей истории РАН
<i>И. К. Лапина</i>	доктор ист. наук, профессор зав. кафедрой всеобщей истории ВлГУ
<i>Ж. В. Латышева</i>	доктор филос. наук, доцент зав. кафедрой журналистики, рекламы и связей с общественностью ВлГУ
<i>А. В. Лубков</i>	доктор ист. наук, профессор ректор МПГУ
<i>А. В. Марков</i>	доктор филос. наук, профессор профессор кафедры кино и современного искусства РГГУ
<i>Н. М. Маркова</i>	кандидат филос. наук, доцент зам. директора Гуманитарного института ВлГУ
<i>С. А. Мартянова</i>	кандидат филол. наук, доцент зав. кафедрой русской и зарубежной филологии ВлГУ
<i>Ю. Г. Матушанская</i>	доктор филос. наук, профессор профессор кафедры религиоведения Института социально-философских наук и массовых коммуникаций КФУ
<i>А. С. Минаков</i>	доктор ист. наук, профессор профессор кафедры истории России МПГУ
<i>С. С. Новиков</i>	доктор ист. наук, доцент профессор кафедры теории и истории государства и права ВлГУ
<i>М. В. Пименова</i>	доктор филос. наук, профессор зав. кафедрой русского языка ВлГУ
<i>Л. В. Рацибурская</i>	доктор филос. наук, профессор зав. кафедрой современного русского языка и общего языкознания ННГУ
<i>С. И. Реснянский</i>	доктор ист. наук, профессор профессор кафедры истории России Средних веков и Нового времени ГУП
<i>В. В. Сердечная</i>	доктор филос. наук доцент кафедры зарубежной литературы и сравнительного культуроведения КубГУ
<i>А. С. Тимошук</i>	доктор филос. наук, доцент профессор кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин ВЮИ ФСИН России
<i>Т. Е. Шаповалова</i>	доктор филос. наук, профессор зав. кафедрой современного русского языка имени профессора П. А. Леканта ГУП
<i>А. В. Ляпанов</i>	кандидат ист. наук, доцент доцент кафедры истории России ВлГУ (отв. секретарь редакционной коллегии)

СОДЕРЖАНИЕ

ИСТОРИЯ

А. Г. Анин

Допарламентский парламентаризм в России:
историко-политический подход..... 7

В. В. Гурина

Особенности формирования российского правосознания
накануне судебной реформы 1864 года 15

К. А. Юдин

Взаимоотношения России и США в начале XX века:
историко-имагологический аспект 23

ФИЛОЛОГИЯ

А. В. Марков

Композиция в автофикшн как машина автокоммуникации 31

Д. Т. Алиева, М. А. Егорычева

Сравнительная характеристика диалектов Центрального и Южного
регионов России 40

ФИЛОСОФИЯ

Э. Б. Базаев, Л. С. Андреева

Сущность патриотизма в контексте социально-гуманитарных наук 45

О. В. Гарькина

Формирование концепции фетишизма Шарля де Бросса
(философские, этнографические и религиоведческие аспекты) 49

А. А. Доценко, Е. И. Аринин

Диалог науки и религии в контексте проблематики искусственного интеллекта (проекты ИТ-специалистов, богословов и религиоведов)..... 57

В. А. Ерофеева, М. С. Лютаева

«Ад – это другое» или «ад – это я»? Экзистенциальный ужас и ответственность в фильме «Лестница Иакова» 62

Сведения об авторах 67

CONTENTS

HISTORY

A. G. Anin

Pre-parliamentary Parliamentaria in Russia: Historical
and Political Approach 7

V. V. Gurina

Features of Development of Russian Legal Awareness prior
to Judicial Reform of 1864 15

K. A. Yudin

Relations between Russia and the USA in the Early Twentieth Century:
Historical and Imagological Aspect 23

PHILOLOGY

A. V. Markov

Composition in Autofiction as a Machine of Auto-communication 31

D. T. Aliyeva, M. A. Egorycheva

Comparative Characteristics of Dialects in the Central and Southern
Regions of Russia 40

PHILOSOPHY

E. B. Bazaev, L. S. Andreeva

The Essence of Patriotism in the Context of Social and Humanitarian
Sciences 45

O. V. Garkina

Formation of the Concept of Fetishism by Charles de Bross
(Philosophic, Ethnographic and Religious Aspects) 49

A. A. Dotsenko, E. I. Arinin

Dialogue of Science and Religion in the Context of the Problems
of Artificial Intelligence (Projects of IT Specialists, Theologians
and Religious Scholars)..... 57

V. A. Erofeeva, M. S. Lyutaeva

“Hell is Others” or “Hell is Me”? Existential Horror and Responsibility
in the Film “Jacob`s Ladder” 62

Information about the authors..... 69

ДОПАРЛАМЕНТСКИЙ ПАРЛАМЕНТАРИЗМ В РОССИИ: ИСТОРИКО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПОДХОД

Статья посвящена периоду допарламентского парламентаризма в России – незавершенного политического перехода, который характеризовался неразвитостью представительного начала при полном доминировании монарха. Исследование факторов диалектического влияния Востока и Запада на становление и развитие парламентаризма в России позволяет оценить вклад этих обществ в формирование представительной демократии в стране. Исследуя актуальную проблему, автор приходит к выводу, что это влияние порождало как сторонников, так и противников процесса парламентаризации, что определяло сложный, противоречивый и медленный характер политических преобразований.

Ключевые слова: допарламентский парламентаризм, централизация, милитаризация, служилое государство, соборность, факторы влияния Запада, концепция конституционализма, верховенство права, народное представительство, земский либерализм.

Термин «допарламентский парламентаризм в России» не является официальным или широко распространенным в политической науке. Его можно интерпретировать двумя основными способами, и оба они требуют экскурса в историю.

В рамках политологического подхода «допарламентский парламентаризм» трактуется как одна из фаз подготовки законов. В современной России термин может использоваться для описания неформальной, но крайне важной стадии законодательного процесса, которая происходит до официального внесения законопроекта в Государственную Думу.

Исторический подход акцентирует внимание на государственно-общественных институтах до создания первой Государственной Думы. В этом контексте «допарламентский» означает период до 1905 – 1906 гг., когда в России не было постоянного представительного законодательного органа. Однако это не значит, что не было институтов, выполнявших отдельные функции парламента (отсюда и условный «парламентаризм»).

К таким институтам можно отнести Боярскую думу (XIV – начало XVIII в., высший совет при великом князе и царе), которая имела совеща-

тельные функции, но ее влияние постепенно снижалось. Земские соборы (XVI – XVII вв.) как сословно-представительные органы, созываемые для решения важнейших государственных вопросов (избрание царей, объявление войны, введение налогов), часто рассматриваются как прообраз парламента, но они не были постоянными и не ограничивали власть монарха на постоянной основе. Государственный совет (с 1810 г., высший законосовещательный орган Российской империи), созданный по проекту М. М. Сперанского, рассматривал законопроекты до их утверждения императором, но не был выборным органом и тем более парламентом.

Таким образом, «допарламентский парламентаризм» в России – это период существования совещательных, но не законодательных, не выборных и не ограничивающих верховную власть институтов. Это история незавершенного политического перехода, который характеризовался неразвитостью представительного начала при полном доминировании монарха.

Почему в отличие от других европейских стран парламент в России появился лишь в начале XX в.? Условия формирования российского парламентаризма складывались под влиянием уникальных исторических, политических и социальных особенностей развития российской государственности. Этот процесс характеризуется сочетанием общих закономерностей и специфических черт, прису-

щих именно России. Становление парламентаризма проходило в условиях гипертрофированной роли верховной власти в обществе, постоянного процесса реформирования государственного аппарата, конфликтного характера развития российской государственности и нелинейности исторического процесса [6, с. 322].

Помимо внутренних причин следует обратить внимание и на влияние, которое оказывали Запад и Восток.

Влияние Востока на возникновение парламентаризма в России – фактор, который часто недооценивают, поскольку традиционно акцент делается на западных образцах (английский парламент, французские Генеральные штаты). Однако восточное влияние, в основном опосредованное и негативное, сыграло решающую роль в формировании уникального российского пути, включая и становление представительных институтов.

Можно выделить несколько ключевых аспектов этого влияния.

Во-первых, прямое институциональное влияние в период монголо-татарского нашествия (XIII – XV вв.). Это самый фундаментальный пласт восточного влияния, которое сформировало саму природу русской государственности [10].

Произошла изоляция от Европы. Иго отрезало Русь от западноевропейских политических и правовых процессов. В то время как в Европе складывались сословно-представительные монархии, утверждались хартии вольностей (Великая хартия вольностей,

1215 г.) и укреплялось городское самоуправление, Русь была вынуждена развиваться в ином политическом ключе.

Монгольское нашествие способствовало усилению авторитарной власти. Монгольская имперская модель предполагала беспрекословную власть хана и жесткую вертикаль подчинения. Эта модель была воспринята и адаптирована московскими князьями в их борьбе за объединение земель. Идея служения государю как высшей ценности укрепилась в ущерб идее договорных отношений между монархом и сословиями, что было основой для европейского парламентаризма.

Все это привело к отсутствию традиций правового феодализма. В отличие от Европы, где отношения сеньора и вассала были взаимными и регулировались договором, на Руси после ига утвердилась модель «государь – холопы». Сословия не смогли выработать механизмы защиты своих прав перед лицом усиливающейся центральной власти.

Подытоживая вышеизложенное, можно утверждать, что монгольское влияние не принесло на Русь парламентских институтов, но создало мощный структурный барьер для их естественного возникновения по европейскому образцу, заложив основы самодержавного деспотизма.

Во-вторых, «восточный» вызов стал фактором централизации и милитаризации. На протяжении всей своей истории Россия существовала на границе с динамичным и часто враждеб-

ным миром степей (а затем Османской империи). Это требовало постоянной мобилизации ресурсов. Для обороны огромных границ требовалась сильная центральная власть, способная быстро собирать налоги и рекрутов. Парламентские процедуры, обсуждения, компромиссы в таких условиях воспринимались как роскошь и помеха.

В конце концов сформировалось «служилое государство». Московское царство, а затем и Российская империя строились по принципу всеобщей службы государству (дворянство – армия, крестьянство – содержание дворянства и налоги). Эта логика была противоположна логике прав и свобод, на которых основывается парламентаризм [5].

Таким образом, необходимость противостоять Востоку (в лице кочевников, Крымского ханства, Османской империи) консервировала авторитарные, милитаризованные формы правления, оставляя мало места для представительных органов.

В-третьих, влияние через имперскую политику (XVIII – XIX вв.). По мере расширения империи на Восток и Юг (Приуралье, Сибирь, Кавказ, Средняя Азия) Россия инкорпорирует народы с их собственными, часто неевропейскими традициями управления.

При этом российская власть проявляла прагматизм и гибкость, часто оставляя местные формы самоуправления (например, мехкеме в Крыму, советы старейшин на Кавказе), но интегрировала их в вертикаль

имперской администрации. Этот опыт управления разнородными территориями укреплял патерналистскую и этатистскую модель, а не модель общественного договора.

Подавление польских восстаний как антивосточный фактор. Польша с ее мощной традицией шляхетской демократии и сеймом была для России проводником западных идей парламентаризма. Жесткое подавление польских восстаний (1830 – 1831, 1863 – 1864 гг.) было связано, в том числе, и со страхом распространения этих «опасных» идей вглубь России. Таким образом, борьба с «западным» парламентаризмом на польских землях велась под лозунгом защиты «восточных» (православно-самодержавных) устоев империи.

В-четвертых, идейно-философское влияние вылилось в спор западников и славянофилов. В XIX в. мощное идейное течение – славянофильство – предприняло попытку осмыслить «восточное» наследие России. Результатом стала обоснованная критика западного парламентаризма. Славянофилы (Л. С. Хомяков, И. В. Киреевский, К. С. Аксаков) рассматривали западный парламентаризм как формальный, бездушный механизм, основанный на борьбе эгоистических интересов [9].

Была выдвинута идея соборности как альтернатива парламентаризму. Они противопоставляли ему русскую идею соборности – добровольного «органического» единения народа вокруг власти, которое должно

находить выражение не в парламенте, а в Земском соборе. Земский собор трактовался не как орган борьбы за права, а как совет всей земли с государем [11; 7].

Эта идея повлияла на разработчиков Великих реформ, особенно земской. Земства создавались не как политический парламент, а как всеословный орган для решения местных хозяйственных дел, что было компромиссом между западной практикой и славянофильской идеей «органического» единения.

Таким образом, влияние Востока на возникновение парламентаризма в России было в основном негативным и опосредованным:

1) структурный барьер. Монгольское иго заложило основы авторитарной власти и помешало развитию сословного представительства по европейскому образцу;

2) фактор постоянной угрозы. Необходимость обороны от «восточных» соседей способствовала милитаризации и централизации, оставляя мало пространства для парламентских институтов;

3) идейная альтернатива. В философском плане переосмысление «восточных» (в трактовке славянофилов – самобытных) черт России породило мощную критику западного парламентаризма и предложило свою, особую модель народного представительства (соборность), которая так и не была реализована.

Восток не «подарил» России парламентаризм, но сформировал тот

уникальный историко-политический контекст, в котором западные идеи парламентаризма прививались с огромным трудом, постоянными задержками и в глубоко измененной форме.

Влияние Запада на возникновение парламентаризма в России было прямым, мощным и определяющим. Можно выделить три волны влияния: просвещенческая (XVIII в.), либерально-реформаторская (XIX в.) и революционная (рубеж XIX – XX вв.). В отличие от восточного влияния, которое создавало скорее структурные и идеологические барьеры, западное воздействие предоставляло конкретные модели, идеи и импульсы для преобразований.

Это влияние шло по нескольким ключевым каналам.

Во-первых, интеллектуальное и идейное влияние (теории и философия). Это самый ранний и фундаментальный пласт влияния.

Идеи Просвещения (XVIII в.) в трудах Шарля-Луи Монтескьё, Жан-Жака Руссо, Джона Локка проникали в Россию и становились достоянием образованной элиты. Монтескьё с его теорией разделения властей прямо указывал на необходимость независимого законодательного органа. Руссо с концепцией «общественного договора» подрывал идею божественного права самодержцев. Этими идеями вдохновлялись и «просвещенные дворяне» (как декабристы), и сами монархи (как Екатерина II, которая писа-

ла о «Наказе», но не решалась на реальные реформы) [3].

В XIX в. постепенно усваивались либеральные идеи – концепции конституционализма, верховенства права (rule of law) и народного представительства, разработанные в Западной Европе.

Во-вторых, прямые институциональные образцы (практические модели). Российские реформаторы целенаправленно изучали и пытались адаптировать западные политические институты. Английский парламент был главным образцом для российских либералов. Его историческая эволюция, двухпалатная структура, принципы парламентской неприкосновенности и независимости судей рассматривались как идеал.

После Великой французской революции и в период «Великих реформ» внимание привлекал опыт Франции – известные французские политические системы: от республиканских институтов до бонапартистской модели плебисцитарной демократии с сильной исполнительной властью.

Германский и австрийский опыт также был востребован. При разработке земской (1864 г.) и городской (1870 г.) реформ тщательно изучался опыт местного самоуправления в Пруссии и Австрийской империи. Многие процедурные аспекты были заимствованы оттуда.

Судебная реформа 1864 г. была, пожалуй, самой прямой и успешной «трансплантацией» западного инсти-

тута. В её основе лежали английский принцип суда присяжных, французский и немецкий уголовный и гражданский процессуальные кодексы, принципы несменяемости судей, гласности и состязательности, общие для всей западной правовой традиции [4].

В-третьих, влияние через общественное движение и «общественное мнение». Восстание декабристов (1825 г.) было прямым следствием усвоения западных идей. Программы «Северного» и «Южного» обществ («Конституция» Н. М. Муравьёва и «Русская правда» П. И. Пестеля) предлагали различные модели представительного правления, основанные на американском и французском опыте.

Формирование либеральной оппозиции привело к тому, что в пореформенный период (после 1860-х гг.) земский либерализм стал главной движущей силой в борьбе за парламент. Его лидеры (И. И. Петрункевич, Д. Н. Шипов и др.) открыто заявляли, что их цель – «увенчать здание реформ» общенациональным представительным органом по образцу европейских парламентов.

Возросла роль печати. Развитие независимой прессы после реформ позволяло вести публичную дискуссию о западном политическом опыте, что формировало в обществе запрос на изменения.

В-четвертых, внешнеполитическое давление («Догоняющая модернизация»). Поражение от западных держав (Великобритании, Франции) в Крымской войне (1853 – 1856 гг.) ста-

ло шоком для империи. Оно наглядно показало, что экономическая и военная отсталость России коренится в её политической и социальной системе – крепостном праве и отсутствии гражданского общества. Это стало главным катализатором «Великих реформ», которые, в свою очередь, создали предпосылки для парламентаризма.

Давило и стремление быть «европейской державой». Для российских императоров, начиная с Петра I, статус великой европейской державы был ключевым. В XIX в. этот статус всё больше ассоциировался не только с военной мощью, но и с определённым уровнем политического развития. Проведение либеральных реформ было способом легитимировать себя в глазах Европы.

«Конституция Лорис-Меликова» (1881 г.) – кульминация западного влияния в XIX в. в конце царствования Александра II – конкретный проект, который предполагал создание представительной комиссии из выборных от земств и городов для предварительного обсуждения некоторых законов. Хотя это был не полноценный парламент, а лишь совещательный орган, проект был прямым заимствованием идеи народного представительства и стал бы первым шагом к конституционной монархии западного типа. Проект был одобрен Александром II, но его реализацию сорвало убийство императора.

Таким образом, влияние Запада было движущей силой в процессе

возникновения парламентаризма в России, в то время как влияние Востока создавало тормозящие механизмы. Запад предоставил идеологию (либерализм, конституционализм), конкретные институциональные модели (парламент, местное самоуправление, независимый суд) и внешний импульс для модернизации (Крымская война) [1; 2; 8].

Это влияние было диалектическим. Оно порождало как сторонников (западников, либералов), так и противников (славянофилов, консерваторов), что определяло сложный, проти-

воречивый и медленный характер политических преобразований.

Таким образом, российский парламентаризм (проявившийся в полной мере в 1905 – 1906 гг. с созданием Государственной Думы) стал не столько результатом внутреннего органического развития, но во многом целенаправленной адаптации западных политических институтов под давлением внешних обстоятельств и растущего внутреннего общественного запроса, сформированного теми же западными идеями.

Библиографические ссылки

1. Горская Н. И. Подготовка земской реформы 1864 г.: историографический аспект // Вестник ВлГУ. Социальные и гуманитарные науки. 2020. № 4. С. 15 – 28.
2. Гурина В. В. Организационные вопросы деятельности мировых судей во второй половине XIX в. (по материалам Московской губернии) // Вестник ВлГУ. Социальные и гуманитарные науки. 2025. № 1. С. 12 – 20.
3. Князева С. Е. Идея свободы и инструмент «золотой середины» в теории и практике европейских либералов XX столетия // Вестник РГГУ. Серия: История. Филология. Культурология. Востоковедение. 2013. № 13 (114). С. 180 – 196.
4. Левин В. В. Судебная реформа 1864 г. и ее влияние на правовую систему России // Социология и право. 2021. № 2. С. 104 – 111.
5. Пейзак А. В. Формирование служилого государства в России в конце XV – XVI в. : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Краснодар, 2012.
6. Русский консерватизм XIX столетия: Идеология и практика / отв. ред. В. Я. Гросул; Б. С. Итенберг, В. А. Твардовская, К. Ф. Шацилло. М. : Прогресс-Традиция, 2000.
7. Иоанн, митрополит (Снычѳв). Русь Соборная. Очерки христианской государственности // Русская симфония: Очерки русской историософии. СПб. : Царское дело, 2004.
8. М. М. Сперанский и опыт социально-политического реформаторства в отечественной истории : сб. ст. молодых ученых по итогам всерос. науч.-практ. конф., 20 – 21 сент. 2022 г. / гл. ред. Е. М. Петровичева ; Владим. гос. ун-т им. А. Г. и Н. Г. Столетовых. Владимир : Транзит-Икс, 2023. 222 с.

9. Стогов Д. И. Славянофильство как идеологическая основа монархического движения в XX в. // Русско-Византийский вестник. 2023. № 4(15). С. 192 – 201.

10. Тарасов К. Н. Проблема взаимосвязи власти и общества через процесс формирования политической элиты во взглядах умеренных консерваторов (Л. А. Тихомиров, И. А. Ильин, евразийцы) // Вестник Томского государственного университета. 2013. № 376. С. 114 – 120.

11. Черепнин Л. В. Земские соборы Русского государства в XVI – XVII вв. М. : Наука, 1978.

A. G. Annin

**PRE-PARLIAMENTARY PARLIAMENTARIA IN RUSSIA:
A HISTORICAL AND POLITICAL APPROACH**

The article is devoted to the period of "pre-parliamentary parliamentarism" in Russia, an incomplete political transition characterized by the underdevelopment of the representative principle under the complete dominance of the monarch. The study of the factors of the dialectical influence of East and West on the formation and development of parliamentarism in Russia makes it possible to assess the contribution of these societies to the formation of representative democracy in the country. Examining the current problem, the author comes to the conclusion that this influence generated both supporters and opponents of the parliamentarization process, which determined the complex, contradictory and slow nature of political transformations.

Keywords: "pre-parliamentary parliamentarism", parliamentarism, eastern influence, centralization, militarization, "the servile state", "conciliarity", Western influence, the concept of constitutionalism, the rule of law, popular representation, zemstvo liberalism.

В. В. Гурина

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ РОССИЙСКОГО ПРАВОСОЗНАНИЯ НАКАНУНЕ СУДЕБНОЙ РЕФОРМЫ 1864 ГОДА

В статье исследована проблема формирования правосознания в российском обществе накануне судебной реформы 1864 года. Анализируется становление правовой культуры в России на рубеже XVIII – XIX веков с акцентом на судебную реформу 1864 года, оценивается влияние самодержавия на правосознание российского общества. Автор отмечает, что, несмотря на прогрессивные идеи, отсутствие ограничений на монархическую власть не позволило полностью реализовать потенциал реформ. Оставаясь под влиянием традиционных форм управления в отсутствии конституционных ограничений, судебная реформа 1864 года обнаружила разрыв между своими либеральными принципами и реальным состоянием правовой культуры, что препятствовало полному развитию правового сознания и государства в России.

Ключевые слова: судебная реформа 1864 года, правосознание, монархия, мировой суд, декабристы, либеральные идеи.

В современной России в условиях активно развивающегося правового государства и народного суверенитета не теряет актуальности проблема изучения становления отечественной правовой культуры. В российском обществе начала XIX века вопросам правовой защищённости личности и осознания права как такового уделялось особое внимание. Процесс формирования права в России во многом отставал от западноевропейского, где философско-правовая мысль активно развивалась уже в эпоху Возрождения. На рубеже XVIII – XIX веков влияние просветительских идей и буржуазных революций в Европе неизбежно начинает сказываться и на России.

Судебная реформа 1864 года по праву считается одной из самых прогрессивных реформ Александра II, направленных на развитие гражданского правосознания в обществе. Ее исследованию посвящено множество трудов современников, а также ученых историков и правоведов советского и постсоветского периода. Литература дореволюционного периода представлена работами В. П. Безобразова [2], И. В. Гессена [6], Г. А. Джаншиева [9; 10; 11], В. Железникова [14], Б. Кистяковского [35, р. 21], А. Ф. Кони [17; 18], С. Ф. Платонова [27], В. Я. Фукса [29] В. Чекалина [30] и других авторов – современников реформистских событий поздней имперской России. Большинство дореволю-

ционных авторов высоко оценивали судебную реформу 1864 года, считая её новеллы наиболее прогрессивными среди других институтов государственной власти в России. Так или иначе исследователи судебной реформы в своих трудах касались вопроса развития правосознания российского общества, в особенности получившего свободу и независимость крестьянства [3; 20].

С приходом большевиков к власти в 1917 году ведущие принципы судостроительства, установленные в результате преобразований Александра II, были утрачены, основу новой судебной системы составили иные концепции. Судебные реформы Александра II рассматривались через призму недооценки их демократической направленности, продиктованной политико-идеологической ситуацией. В советском периоде проекты судебной реформы 1864 года изучались в трудах Б. В. Виленского [5], Н. Н. Ефремовой [12; 13], П. А. Зайончковского [15], Л. Г. Захаровой [16], М. В. Немытиной [22; 23]. Здесь преобладало стремление большинства советских авторов показать негативные стороны судебной реформы, и как следствие – повышенный интерес к контрреформе.

Постсоветская исследовательская литература при смене политической власти и последовавшем пересмотре некоторых научно-исследовательских парадигм обратила внимание на исторический опыт, выделяя либеральную концепцию реформирования государственной правовой системы [1; 20;

34]. При этом в исследованиях прослеживается тенденция по выявлению несоответствия ментальной правовой культуры российского общества либеральным началам, лежащим в основе вновь созданных институтов судебной власти [4].

С использованием специально-исторических, а также общенаучных методов познания автор выявляет особенности формирования российского правосознания накануне судебной реформы 1864 года. Кроме того, в статье прослеживается взаимосвязь либеральных идей, лежащих в основе реформ Александра II и существующей формы правления в Российской империи.

Необходимость реформирования системы праворегулирования в России на пороге XIX века стояла особенно остро. Как уже упоминалось, философско-правовая мысль активно развивалась в странах Западной Европы уже в эпоху Возрождения, в то время как в России понимание права было довольно размытым. Это можно объяснить несколькими факторами. Во-первых, относительно позднее появление университетов и систематического юридического образования не обеспечивало достаточной базы для развития абстрактного правового мышления. Долгое время юридическая практика основывалась на традиционных нормах, казённом праве и имперских указах, оставляя мало места для теоретических изысканий. Во-вторых, самодержавная система

власти, характерная для России, не стимулировала развитие критического правового мышления. Любые попытки осмысления права вне рамок существующего порядка рассматривались как потенциальная угроза существующему режиму. Однако на рубеже XVIII – XIX веков влияние просветительских идей и буржуазных революций в Европе неизбежно начало сказываться и на России. Проникновение идей конституционализма, разделения властей и верховенства права создало почву для развития философско-правовой мысли. Западные концепции ограничения монархической власти и создания республиканских форм правления нашли отклик в работах российских мыслителей. Возникновение целого ряда конституционных проектов – от либеральных предложений Д. И. Фонвизина и Н. И. Панина до более радикальных планов Н. Н. Новосильцева, Н. М. Муравьева и П. И. Пестеля – свидетельствует о нарастании интереса к альтернативным формам государственного устройства. Во многом появлению в российском обществе декабристов способствовали реформы Александра I, не доведенные до логического завершения и в большинстве своем оставшиеся в режиме декларирования. Необходимость решения общественно-политических вопросов, прежде всего отмены крепостного права и ограничения монархии, стимулировал успешный опыт зарубежных стран,

основанный на идеологии французских мыслителей.

Однако разработанные декабристами проекты, несмотря на их интеллектуальную ценность, остались в значительной степени утопическими. Российский социум того времени в силу своей социальной структуры и традиций не был готов к резким изменениям политического строя. Крепостничество, низкий уровень грамотности населения и сильное влияние церкви создавали значительные препятствия для принятия и реализации конституционных идей. Более того, самодержавная власть воспринимала любые попытки ограничения своей власти как прямую угрозу своему существованию. В XIX – начале XX века русская философия права стала разрабатывать более глубинные вопросы, связанные с сущностью права и его ролью в обществе. В центре внимания оказались проблемы собственности, её пределы и возможности государственного регулирования. Например, дискуссии о частной собственности и её социальной функции были неразрывно связаны с проблемой равенства и социальной справедливости. Активно обсуждались вопросы свободы договора и её границы, проблемы государственного вмешательства в экономическую жизнь. Важную роль сыграли работы таких мыслителей, как Б. Н. Чичерин [31; 32; 33], П. И. Новгородцев [24; 25], Л. И. Петражицкий [26]. Б. Н. Чичерин, приверженец либеральных идей, разрабатывал теорию

естественного права и ограничения государственной власти. П. И. Новгородцев активно исследовал этические основы права и роли личности в правовой системе, вводя понятие правосознания как необходимого условия для эффективного функционирования права. Л. И. Петражицкий предложил оригинальную психологическую теорию права, основанную на изучении внутренних психологических механизмов, регулирующих поведение людей. Их труды не только анализировали существующую правовую систему, но и предлагали новые подходы к пониманию права, учитывающие социальные и культурные факторы.

Особое внимание следует уделить вопросам судоустройства как одного из основных элементов правового регулирования общества. Влияние административной власти, несмотря на предпринятую еще Екатериной II в 1775 году попытку отделить судебную власть от административной, оставалось достаточно сильным. Губернатор имел право вмешиваться в ход судебных дел, менять итоговое решение по делу. Полиция, кроме следственных функций, обладала полномочиями судебными по маловажным делам, а также по исполнению приговоров. Сроки рассмотрения дел в суде не устанавливались, могли растягиваться на годы, а иногда и десятилетия. Судебные заседания по всем категориям дел были закрытыми, что служило дополнительным провоцирующим фактором коррупционного характера.

Взяточничество и судебная «волоки-та» были повсеместны. Суды оставались сословными, без четко установленной подсудности и подведомственности.

Мысли о необходимости создания правового государства высказывал великий отечественный реформатор Михаил Михайлович Сперанский. Будучи мыслителем и государственным деятелем, Сперанский в первую очередь философ и автор политико-правовых идей о государственном управлении. Так, М. М. Сперанский положил начало разделению публичного и частного права, высказав идеи об основной функции государственного права по защите власти, с одной стороны, с другой – о необходимости гражданского права находиться под защитой государственного права, «воспрепятствывая себе самоуправство» [28, с. 176 – 212]

При этом монархическая форма правления, несмотря на влияние либеральных принципов, реализованных в изменении государственного устройства западноевропейских государств, в предложениях М. М. Сперанского оставалась неизменной. Вместе с тем предложения по изменению государственного устройства были изложены в «Введении к уложению государственных законов», представлявшем собой некий прообраз конституции, с раскрытием принципа разделения властей, а также полномочий центральных и региональных органов власти [28, с. 32].

Судебная реформа 1864 года является одной из самых либеральных и даже демократических реформ Александра II, именно ее проведение послужило началом создания правового государства и развития правосознания в гражданском обществе. Социально-экономическая ситуация в Российской империи накануне судебной реформы требовала коренных комплексных преобразований. Император Александр II, получивший отличное образование, в том числе от М. М. Сперанского, проникся прогрессивными взглядами на развитие государства и общества. Во многом благодаря своему учителю Александр II видел необходимость проведения судебной реформы в либеральной концепции. Единомышленник М. М. Сперанского и государственный деятель граф Д. Н. Блудов получил поручение подготовить предложения по реформированию судостроительства и судопроизводства Российской империи. Однако в Государственном Совете представленные графом Д. Н. Блудовым проекты не нашли всеобщей поддержки. Министр юстиции граф В. Н. Панин, главный оппонент Д. Н. Блудова, был противником всяких перемен.

В этот момент решающую роль в жизни законопроектов сыграла личность статс-секретаря Государственного Совета Ивана Сергеевича Зарудного (1821 – 1887), который еще в 1857 году поддержал идеи графа Д. Н. Блудова о привлечении к участию в обсуждении проектов реформ ученых и представителей общественности. Еще в 1843 году И. С. Зарудному было

поручено выполнять техническую работу по разбору мнений о недостатках в области гражданского судопроизводства, выявленных практикой, поступающих от председателей гражданских палат и губернских прокуроров. Но Иван Сергеевич не просто пересылал письма Д. Н. Блудову, он внимательно изучал все предложения, делал выписки, на которых и сформировалось общее понимание характера необходимых преобразований. Нельзя не упомянуть и о знакомстве Зарудного с законодательством иностранных государств. Непосредственно за границей он изучал французскую судебную практику, сравнивая и примеряя наиболее подходящие элементы судостроительства к законодательству российскому. Свой взгляд на основные принципы создания мирового суда в России Зарудный формирует, исходя из особенностей французской модели аналогичного института, которому в первую очередь присущи судебные функции, отделенные от административно-исполнительной власти. Также многими исследователями отмечается западное влияние на подготовку земской реформы 1864 года, которое рассматривается «сквозь призму теорий самоуправления: государственной и общественно-хозяйственной» [7, с. 18].

После Манифеста 19 февраля 1861 года вопрос о судебной реформе встал особенно остро. Работу над Судебными уставами фактически возглавил С. И. Зарудный. Представленные на рассмотрение в апреле 1862 года Александру II «Основные положения

о преобразовании судебной части в России» содержали уже все основные принципы судебной реформы. После утверждения императором официальная публикация «Основных положений» в сентябре 1862 года своей основной целью имела получить ценные замечания юристов-практиков всех уровней всей России, а вместе с тем и способствовала нейтрализации критики со стороны консервативных кругов во главе с графом В. Н. Паниным. Несмотря на отсутствие в Российской империи того времени достаточного количества профессиональных юридических кадров, предложенные к рассмотрению проекты получили «446 разных замечаний со всех концов России, не исключая и самых глухих закоулков Сибири и Закавказья» [10, с. 59]. Такое всестороннее рассмотрение Судебных уставов обеспечило будущему документу прочную научную основу и высокое качество.

Министр юстиции Дмитрий Николаевич Замятнин, получив в 1863 году на согласование проекты Судебных уставов, также внес большой вклад в их создание, подготовил лично замечания, составившие отдельный том объемом порядка пятисот страниц. Впоследствии, вдохновившись прогрессивными идеями создателей Судебных уставов, принял личное участие в проведении судебной реформы.

Сам процесс создания Судебных уставов и их содержание системно отражают историческую действительность времени своего возникно-

вения, условия умственного и нравственного подъема, прогрессивные взгляды Александра II, Д. Н. Блудова, С. И. Зарудного, Д. Н. Замятнина, А. М. Победоносцева и других видных представителей юридического сообщества Российской империи. С. И. Зарудный в своей записке от 24 февраля 1859 года, сохранившейся в «Деле о преобразовании судебной части в России» (том 9) писал: «Трудно думать, чтобы люди где-либо и когда-либо были приготовлены для дурного и незрелы для хорошего. Правильное устройство судебных учреждений составляет вопрос самый настоятельный для России; при том же правильный закон никогда не сделает зла; может быть, по каким-либо обстоятельствам и даже по самому свойству закона нового он не будет некоторое время исполняем согласно с точным одного разумом, но гораздо вероятнее, что он тотчас пустит глубоко свои корни и составит могущественную опору спокойствия и благоденствия народа» [8, с. 63].

Уважение к праву, присущее западноевропейскому обществу, постепенно проникает и в отечественное самосознание. Вместе с тем при наличии либеральных идей в основе реформ Александра II в отсутствие ограничения монархии в виде конституции или парламента не дало возможности в полной мере реализовать начавшееся развитие правового государства, обнаружив некоторое несоответствие естественного и позитивного права в российском обществе XIX века.

Библиографические ссылки

1. Акашкин И. А. Политико-правовая доктрина российского либерализма (вторая половина XIX – начало XX века). М. : Изд-во СГУ, 2009.
2. Безобразов В. П. Мысли по поводу мировой судебной власти. М. : Унив. тип. (Катков и К°), 1866. 66 с.
3. Бржеский Н. К. Очерки юридического быта крестьян. СПб. : тип. В. Киршбаума, 1902.
4. Буков В. А. От российского суда присяжных к пролетарскому правосудию: у истоков тоталитаризма. М. : АЦ, 1997. С. 4.
5. Виленский Б. В. Судебная реформа и контрреформа в России. Саратов : Приволж. кн. изд-во, 1969. 400 с.
6. Гессен И. В. Судебная реформа. СПб. : П. П. Гершунин и К°, 1904. 267 с.
7. Горская Н. И. Подготовка земской реформы 1864 г.: историографический аспект // Вестник ВлГУ. Социальные и гуманитарные науки. 2020. № 4(28). С. 15 – 28.
8. Джаншиев Г. А. Зарудный и Судебная реформа. Историко-биографический эскиз. М. : Тип. Е. Гербе, 1889.
9. Джаншиев Г. А. Из эпохи великих реформ. М. : Тип. А. И. Мамонтова и К°, 1892. VIII. 463 с.
10. Джаншиев Г. А. Основы судебной реформы : сб. ст. М. : Рос. акад. правосудия : Статут, 2004.
11. Джаншиев Г. А. Сборник статей (К юбилею судебной реформы 1864 – 1914) / под ред. В. П. Обнинского, со вст. ст. А. Ф. Кони. М. : Задруга, 1914. XXIV, 520 с.
12. Ефремова Н. Н. Министерство юстиции Российской империи, 1802 – 1917 гг. : историко-правовое исследование : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01. М., 1983. 214 с.
13. Ефремова Н. Н. Судебные реформы в России: традиции, новации, проблемы // Государство и право. 1996. № 11. С. 85 – 91.
14. Железников В. Настольная книга для мировых судей. СПб., 1865. 495 с.
15. Зайончковский П. А. Кризис самодержавия на рубеже 1870 – 1880 гг. М. : Изд-во Моск. ун-та, 1964. 511 с.
16. Захарова Л. Г. Самодержавие, бюрократия и реформы 60-х гг. XIX в. в России // Вопросы истории. 1989. № 10. С. 3 – 24.
17. Кони А. Ф. Отцы и дети судебной реформы (К пятидесятилетию судебных уставов). М. : Изд. и тип. И. Д. Сытина, 1914.
18. Кони А. Ф. Собрание сочинений. В 8 т. Т. 4. Правовые воззрения. М. : Юрид. лит., 1967. 544 с.

19. Коротких М. Г. Судебная реформа 1864 года в России (Сущность и социально-правовой механизм формирования). Воронеж : Изд-во Воронеж. ун-та, 1994. 238 с.
20. Красильникова Т. В. Проблемы либерального социализма в российской общественно-политической мысли: 1890-е – 1917 г. : дис. ... д-ра ист. наук. Томск, 2003.
21. Кузьмин-Караваев В. Д. Земство и деревня. СПб. : тип. т-ва «Общественная польза», 1904.
22. Немытина М. В. Применение Судебных Уставов 1864 г. // Буржуазные реформы в России во второй половине XIX века. Воронеж : Изд-во Воронеж. ун-та, 1988. 140 с.
23. Немытина М. В. Пореформенный суд в России: деформация основных институтов уставов 1864 г. // Изв. высш. учеб. заведений. Правоведение. 1991. № 4. С. 101 – 105.
24. Новгородцев П. И. О своеобразных элементах русской философии права // Русская философия права. Антология. СПб. : Алетейя, 1999. С. 229 – 246.
25. Новгородцев П. И. Введение в философию права. Кризис современного правосознания. СПб. : Лань и др., 2000. С. 331.
26. Петражицкий Л. И. Теория права и государства в связи с теорией нравственности. СПб. : Тип. акц. общ. «Слово», 1907. С. 533.
27. Платонов С. Ф. О порядке начисления количества земли, дающего права на избрание в мировые судьи (указ Сената) // Журнал гражданского и уголовного права. 1875. Кн. 1. С. 87 – 89.
28. Сперанский М. М. Проекты и записки. М.-Л. : Изд-во АН СССР, 1961. С. 176 – 212.
29. Фукс В. Я. Суд и полиция : в 2 ч. М. : Унив. тип., 1889.
30. Чекалин В. Мировой судья по уставам и в действительности // Журнал уголовного и гражданского права. 1882. № 1.
31. Чичерин Б. Н. Философия права. М. : типо-лит. И. Н. Кушнерев и К°, 1900. 337 с.
32. Чичерин Б. Н. Собственность и государство. М. : РОССПЭН, 2010. С. 202 – 292.
33. Чичерин Б. Н. Философия права. Гл. 2. История философии права. 2-е изд. М., 2011.
34. Шелохаев В. В. Либеральная модель переустройства России. М. : Росспэн, 1996.
35. Reforming Justice in Russia, 1864 – 1996: Power, Culture, and the Limits of Legal Order / Edited by Peter H. Solomon Jr. Armonk. NY and London : M. E. Sharpe, 1997. 406 p.

FEATURES OF DEVELOPMENT OF RUSSIAN LEGAL AWARENESS PRIOR TO JUDICIAL REFORM OF 1864

The article examines the problem of legal awareness in Russian society prior to the reform of 1864. The article analyzes the development of legal culture in Russia at the turn of the XVIII-XIX centuries, with emphasis on the Judicial Reform of 1864, and evaluates the influence of autocracy on the legal consciousness of Russian society. The author notes that, despite progressive ideas, the absence of limitations to monarch's power did not allow the full potential of reforms to be realized. While remaining influenced by traditional forms of government in the absence of constitutional restrictions, the judicial reform of 1864 revealed a gap between its liberal principles and the actual state of legal culture, which hindered the full development of legal awareness and the state in Russia.

Keywords: judicial reform of 1864, legal awareness, monarchy, world court, Decembrists, liberal ideas.

УДК 930.23

К. А. Юдин

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ РОССИИ И США В НАЧАЛЕ XX ВЕКА: ИСТОРИКО-ИМАГОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

В статье рассматриваются взаимоотношения России и США в начале XX в. Значительное внимание уделяется новейшей историографии и методологии. Делаются выводы о том, что культурно-цивилизационная комплементарность двух стран/государств вызревала под воздействием глобальных факторов – позднеимперского кризиса власти в России и американского мессианства. Они способствовали формированию долгосрочной имагологической амбивалентности, позволявшей и на последующих исторических этапах регулировать положительные и отрицательные параметры «образа Другого» в культуре, искусстве, политическом дискурсе и практической дипломатии.

Ключевые слова: российско-американские отношения, имагологический подход, историография, методология, «образ Другого», мессианство, культурная дипломатия.

Глобальные культурно-цивилизационные трансформации рубежа XIX – первой четверти XX в.: революционные потрясения, общественное движение, специфика государственного управления в условиях кризиса накануне и в годы Первой мировой войны и иные факторы, кардинальным образом изменившие историческую карту и геополитическое пространство, уже достаточно изучены в отечественной и зарубежной литературе [15]. Этим обстоятельством обусловлено и название настоящей публикации, вносящей лишь дополнительные штрихи к уже созданной историографической картине. Можно отметить как уже давно ставшие классическими труды К. Ф. и В. К. Шацилло, В. Л. Малькова [12; 17; 18], так и работы нового поколения историков, не только не утрачивающие, но и успешно стимулирующие интерес к дискуссиям о пути политического развития России и мира [4; 13; 14].

Полноправную нишу в научном дискурсе заняли и российско-американские отношения в этот период времени, рефлексия которых выходит на уровень комплексных историко-политологических обобщений [10; 11]. В частности, в монографическом исследовании Д. В. Дорофеева выделяется тринадцать макротем, в рамках которых изучается внешняя политика США [5, с. 144]. Значителен вклад американских историков [19; 20; 22], создавших серьезную теоретико-методологическую базу и предложивших оригинальную концептуальную экс-

пертизу траекторий и механизмов формирования образов «русского Другого», созданных через маркеры культурно-цивилизационных оппозиций («свет – тьма», «цивилизация – варварство», «свобода – рабство»), преодоление национально-этнической стереотипизации, в рамках травелогов (нарративов путешествий), гендерного и конструктивистского дискурса [8], «новой истории дипломатии», предполагавшей «анализ когнитивно-психологических и эмоциональных факторов принятия внешнеполитических решений» [10, с. 301].

Поэтому в свете новейшей историографии, политики памяти предельно актуальными становятся *историко-имагологические аспекты* ранее обозначенной проблематики, которые способствуют прояснению институциональных и коммеморативных векторов российско-американских отношений, определяемых спецификой взаимного восприятия и зеркального формирования образов о государстве, стране и обществе. Как верно отметила В. И. Журавлева, важную роль в имагологическом инсталлировании сыграло филантропическое движение в США в конце XIX – начале XX в., которое «оказало позитивное влияние на развитие двусторонних отношений и взаимовосприятие американцами и русскими друг друга», особенно в период кризисных ситуаций, связанных с голодом в России 1891 – 1892 гг. Именно в это время произошло оформление ведущих структур, в дальнейшем ставших временными

или постоянными общественно-политическими, институциональными акторами – Национального комитета помощи российским голодающим, Американского общества друзей русской свободы (1891) / The Society of American Friends of Russian Freedom [9, с. 33 – 38; 14].

Начало XX столетия подало надежды как на закрепление позитивных имагологических ожиданий – образа России в США, так и возможных изменений политического строя. Это просматривается в донесении посла России в США А. П. Кассини министру иностранных дел Российской империи В. Н. Ламздорфу (так в сборнике допускается и транскрипция фамилии – Ламсдорф. – К. Ю.), датированном 11/24 апреля 1901 г. (даты в сборнике даты по старому и новому стилю, курсив в тексте наш. – К. Ю.). Анализируя настроения американской прессы, Кассини писал: «мною с особенным удовольствием было принято предложение “New York Herald” пропагандировать сближение между Россией и Соединенными Штатами, равно как и признано целесообразным рекомендовать вниманию императорского министерства корреспондента “Associated Press” в Петербурге. Имея громадное распространение в Соединенных Штатах, означенные органы, должным образом направляемые, без сомнения, должны были бы с течением времени привести к установлению среди американской публики *правильного взгляда* как на внутреннюю жизнь России, так и на задачи, пре-

следуемые ею в области международной политики» [16, с. 363]. Далее приводились конкретные примеры конструктивной оценки внешнеполитического курса Российской империи на Дальнем Востоке и по отношению к «маньчжурскому вопросу», когда определенные периодические издания США даже в период явного обострения русско-японских отношений, продолжили поддерживать нейтрально-снисходительную модальность контента. Как отмечалось в следующем донесении А. П. Кассини «О русофобских настроениях американской прессы», составленном уже через три года, 14/27 января 1904 г., «среди немногих органов, осмеливающихся защищать нас, особенно отличается “New York Herald”, поместившая несколько вполне благоприятных нам статей, произведших здесь немалое впечатление» [Там же, с. 367].

Развивавшиеся в США идеи мессианства, в том числе предполагавшие наблюдение и имагологическое «курирование» тенденций по распространению парламентаризма, представительского строя в *другой* стране, когда американское общество переживало период «очарования-разочарования Россией» [6, с. 197], также приводили к сдержанности в оценках событий, связанных с роспуском Государственной Думы в России в 1906 г. Об этом докладывал посол России в США барон Р. Р. Розен уже новому министру иностранных дел А. П. Извольскому, отмечая следующие особенности восприятия американским общественным

мнением перспектив трансформации политического строя в Российской империи: «Сенсационная пресса, разумеется, воспользовалась случаем, чтобы разразиться обычными декларациями на тему о деспотизме, бюрократии и пр. Но лучшие органы печати или совсем воздерживались от критики (в том числе и “New York Times”, орган высшего класса американского еврейства), или при обсуждении вопроса о распусчении Думы, о причинах, вызвавших это мероприятие, и возможных его последствиях проявляли вполне приличную сдержанность». И в другом месте: «Американское общественное мнение действительно единодушно и даже страстно осуждает абсолютизм. Оно столь же единодушно желает увидеть в России прочное утверждение конституционного образа правления, и всякая партия, готовая искренне и открыто действовать великодушному монарху в его благих начинаниях в этом направлении, пользовалась бы здесь всеобщим горячим сочувствием» [16, с. 370].

Интересными публицистическими источниками являются буклеты, брошюры Американского общества друзей русской свободы, в которых также фигурировали определенные имагологические установки по конструированию и легитимации позитивного образа России и русских, в том числе направленные на достижение конкретных результатов – получение материальной помощи в виде финансовых займов. Все это должно

было сопровождаться и идейно-цивилизационной эмпатией, выражавшейся в стимулировании «народных симпатий в поддержку движения за представительную форму правления в России», стремления «объединить свободолюбивых людей всех наций для того, чтобы оказать давление на российское правительство и побудить его опираться на законы современной цивилизации в обращении с собственным народом» [Там же, с. 371].

Позитивную имагологическую картину в какой-то степени портил «еврейский вопрос». В донесении А. П. Кассини В. Н. Ламздорфу «О реакции американского общества на погром в Кишинёве» от 21 мая/3 июня 1903 г. констатировалось: «Прискорбные события, разыгравшиеся в Кишинёве 5 апреля, произвели в Соединенных Штатах самое сильное впечатление и взволновали общественное мнение, что неудивительно, если принять во внимание, что здесь живет около 3 миллионов евреев и что почти вся пресса, подобно как и в Европе, находится в их руках». И в другом месте: «За последние 2 недели все здешние органы печати, имеющие связи с евреями, публикуют ежедневно статьи с яростными нападками на Россию и ее правительство, а при случае и на российского посла в Вашингтоне» [Там же, с. 283].

Весомым имагологическим актором, создававшим представление об Америке «изнутри», был «голос» российской эмиграции, потоки которой были достаточно значительными

накануне и в годы Первой мировой войны [16, с. 471]. По данным, зафиксированным в справке внештатного российского консула в Бостоне Дж. Конри «О составе и численности российских иммигрантов», согласно федеральной переписи населения 1910 г., «в штате Массачусетс проживали 117 260 человек, родившихся в России. На протяжении 1912 г. в Массачусетс прибыло 14 000 эмигрантов из России, а в 1913 г. около 4 500 россиян проследовали из штата через Бостон или Нью-Йорк обратно в Россию» [Там же, с. 470].

Негативные оценки Америки, как следует из донесения Н. В. Богоявленского от 29 мая/11 июня 1914 г., прежде всего, были вызваны бытовой и материальной неустроенностью, отсутствием возможности трудоустроиться или тенденцией по существенному ухудшению заработков. Эти несчастные, отмечал русский консул, комментируя ситуацию в Сиэтле в мае – июне 1914 г., конечно, крайне угнетены случившимся. Они потратили большие для них деньги, некоторые разорились, потеряли больше полугода времени и ни с чем уезжают. Такой толковый и здоровый народ, все запасные нижние чины, что даже американский эмигрантский чиновник сказал, что «как жаль таких отпускать, такие чудные работники и такие хорошие люди». Потерпевшие, конечно, *бранят Америку и американские порядки*; и эти, разумеется, будут агитировать у себя против эмиграции» [Там же, с. 478]. При этом обуслов-

ленная указанными проблемами отрицательная имагологическая модальность в отношении перспектив обретения новой жизни и свободы в США в какой-то степени амортизировалась осознанием общности проблем повседневной жизни и на Родине.

Встречный информационный канал был представлен воззрениями пребывавших в Российской империи журналистов, публицистов, путешественников, среди которых также присутствовали и эмигранты, получившие американское или британское гражданство. К их числу можно отнести С. А. Раппопорта, одну из своих книг посвятившего описанию повседневной жизни русского крестьянства и духовенства, репрезентация положения которых как основных или многочисленных сословий и стала своеобразным имагологическим маркером, позволяющим делать выводы об условиях жизни во всей стране [21]. Как отмечается в историографии, у других американских публицистов, таких как «джентльмены-социалисты» Уоллинг и Пул, находившихся в России в годы революции 1905 – 1907 гг., «внимание было сосредоточено на социальных “язвах” и противоречиях в жизни священников. Описание быта духовенства дополняло *образ бесправной России, подвергающейся преследованию властей*» [13, с. 83].

Подводя некоторые итоги, отметим, соглашаясь с точкой зрения В. И. Журавлевой, что кардинальные изменения в восприятии России в США произошли еще до Октябрьской

революции, «в предшествующий период первой имиджевой войны» [6, с. 203; 7], когда культурно-цивилизационные «вызовы» переходного времени объективно поставили вопросы о степени комплементарности государств, столкнувшихся со сложностью трансформации текущей исторической памяти о гражданской войне, рабстве и крепостном праве, внутренних «своих» и «чужих», их комбинаций и иными проблемами, еще продолжавшими сохранять нерешенный характер не только в имагологическом, но и политико-практическом отношении.

В то же время именно тогда так же, как в работе Государственной Думы, применялся «октябристский маятник», в отношениях России и США наблюдались, в принципе, не дававшие никакого критического сбоя *«имагологические качели»*. С одной стороны, конфронтация накануне и в период русско-японской войны, нейтралитет США, провозглашение доктрины/принципа «открытых дверей/портов» в Маньчжурии рассматривалось как вполне очевидный индикатор ухудшения российско-американских отношений, что видно из донесений представителей российского аппарата МИДа весны – лета 1903 г., которые указывали на возможные факторы осложнений, связанные с влиянием Китая на негативную имагологическую стереотипизацию, преувеличение российско-американского «кризиса» на волне «японофильских позиций правительства США» [16, с. 40, 41, 50]. С дру-

гой стороны, эти осложнения одновременно погашались убеждениями в маловероятности нарушения баланса. Об этом говорил и госсекретарь США Дж. Хэй, признававший, что «пока американские интересы не нарушены Россией, федеральному правительству нет никакой причины вмешиваться в настоящее политическое положение вещей» [Там же, с. 43], и русские дипломаты. В донесении Р. Р. Розена А. П. Извольскому «О целях визита в Санкт-Петербург военного министра США У. Тафта» от 25 декабря 1907 г./ 7 января 1908 г. отмечалось: «Помещенная Министерством иностранных дел в газете “Россия” превосходная статья ясно и с достоинством оттеняет наше отношение к Соединенным Штатам: русский народ сознает все зло, непреднамеренно, быть может, причиненное России американскою политикою недавно минувших лет, но *предпочитает помнить лишь старую дружбу* и великодушно готов предать забвению этот печальный эпизод в русско-американских отношениях. Такой, мне кажется, смысл этой статьи, и в этом смысле, надеюсь, она была понята здесь» [Там же, с. 376].

Так или иначе, но на следующих этапах российско-американских контактов, циклах диалога с Советской Россией / СССР до и в период «холодной войны», а также на постсоветском пространстве визуальные источники, появление таких картин, как «Николай и Александра» / «Nicholas and Alexandra» (США, 1971, реж. Ф. Шеффер), «Агония» (СССР, 1981,

реж. Э. Климов), и многих других, интегрировавшие важнейшие символические ресурсы для конструирования «образа Другого» [1; 2; 3], индикации лимитов дегуманизации / регуманизации с учетом меняющихся геополитических реалий, встречный интерес

отечественного и зарубежного киноискусства к репрезентации социально-политических проблем начала XX века, показывают, что *имагологический фактор выступал важной составляющей двухсторонних отношений.*

Библиографические ссылки

1. Белов С. И. Легитимация покупки Аляски США в американском историческом кинематографе периода «холодной войны» // Вопросы истории. 2020. № 2. С. 208 – 216.
2. Белов С. И., Жидченко А. В. Обращение к теме рабства в США в советском кинематографе периода «холодной войны» // Вопросы истории. 2020. № 7. С. 110 – 120.
3. «Враг номер один» в символической политике кинематографий СССР и США периода холодной войны / О. В. Рябов, С. И. Белов, О. С. Давыдова [и др.] ; под ред. О. В. Рябова. М. : Аспект Пресс, 2023. 400 с.
4. Гайда Ф. А. Власть и общественность в России: диалог о пути политического развития (1910 – 1917). М. : Русский фонд содействия образованию и науке, 2016. 604 с.
5. Дорофеев Д. В. Генезис внешней политики США: российская историография (XIX – первая четверть XXI века). Симферополь : ИТ «Ариал», 2024. 302 с.
6. Журавлева В. И. История взаимоотношений США с Российской империей / СССР / постсоветской Россией как академический проект XXI века // Американский ежегодник. 2021. М. : ИВИ РАН, 2021. С. 195 – 219.
7. Журавлева В. И. Понимание России в США. Образы и мифы: 1881 – 1914. М. : РГГУ, 2012. 1140 с.
8. Журавлева В. И. Рета Дор: вдохновение и отрезвление русской революцией // Новая и новейшая история. 2025. № 3. С. 105 – 119.
9. Журавлева В. И. Общее прошлое русских и американцев : курс лекций = The Common Past of Russians and Americans : Lecture course / пер. на англ. Дж. Маккензи. М. : РГГУ, 2021. 618 с.
10. Кубышкин А. И., Цветков И. А. Современная американская историография внешней политики США: дискуссии о методологии // Американский ежегодник. 2021. М. : ИВИ РАН, 2021. С. 295 – 313.
11. Pro et contra : курсы лекций. В 2 кн. Кн. 1 / В. И. Журавлева, И. В. Морозова, А. Б. Окунь [и др.] ; под ред. В. И. Журавлевой. 2-е изд., перераб. и доп. М. : РГГУ, 2025. 531 с.

12. Мальков В. Л. Россия и США в XX веке. Очерки истории межгосударственных отношений и дипломатии в социокультурном контексте. М. : Наука, 2009. 494 с.
13. Макурин А. И, Макурина В. В. Восприятие России в США: тема церкви и духовенства в начале XX века // Вестник Удмуртского университета. Серия: История и филология. 2024. Т. 34. Вып. 1. С. 76 – 86.
14. Нечипорук Д. М. Во имя нигилизма: американское общество друзей русской свободы и русская революционная эмиграция (1890 – 1930 гг.). СПб. : Нестор-История, 2018. 288 с.
15. Петров Ю. А. Россия накануне Великой революции 1917 г.: современные историографические тенденции // Российская история. 2017. № 2. С. 3 – 16.
16. Россия и США: дипломатические отношения. 1900 – 1917. М. : МФД, 1999. 856 с.
17. Шаццло В. К. Россия и США: От Портсмутского мира до падения царизма (очерки истории отношений). М. : КМК, 2019. 281 с.
18. Шаццло К. Ф. Государство и монополии в военной промышленности России (конец XIX – начало XX в.). М. : Наука, 1992. 268 с.
19. Engerman D. C. Modernization from the Other Shore: American Intellectuals and the Romance of Russian Development. London : Cambridge, Mass, 2003. 399 p.
20. Foglesong D. S. The American Mission and the «Evil Empire»: The Crusade for a «Free Russia» since 1881. London : Cambridge University Press, 2007. 362 p.
21. Rappoport S. A. Home life in Russia. NY. : The Macmillan Co., 1913. 287 p.
22. Saul N. E. Concord and Conflict: The United States and Russia, 1867 – 1914. Lawrence (Kans.) : University Press of Kansas, cop., 1996. 654 p.

K. A. Yudin

RELATIONS BETWEEN RUSSIA AND THE USA IN THE EARLY TWENTIETH CENTURY: HISTORICAL AND IMAGOLOGICAL ASPECT

The article examines the relationship between Russia and the United States at the beginning of the twentieth century. Considerable attention is paid to the latest historiography and methodology. The author concludes that the cultural and civilizational complementarity of the two countries/states matured under the influence of global factors – the late imperial crisis of power in Russia and American missionary activities. They contributed to the development of long-term imagological ambivalence, which made it possible at subsequent historical stages to regulate the positive and negative parameters of the «image of the Other» in culture, art, political discourse and practical diplomacy.

Keywords: Russian-American relations, imagological approach, historiography, methodology, «image of the Other», missionary activity, cultural diplomacy.

КОМПОЗИЦИЯ В АВТОФИКШН КАК МАШИНА АВТОКОММУНИКАЦИИ

В статье утверждается, что композиция в автофикшне представляет собой не статичную структуру, а динамическую машину автокоммуникации, которая генерирует смысл и преобразует авторскую идентичность. Через анализ таких приемов, как фрагментарность, метадискурс и работа с паратекстом, демонстрируется, как форма становится инструментом самоисследования и проработки травмы. Доказывается, что эти композиционные стратегии являются риторическим ответом на запрос эпохи, позволяя заключить новый пакт с недоверчивым читателем. Таким образом, композиция выполняет не только картографическую, но и экзистенциально-терапевтическую функции, превращая письмо в акт самопреобразования. Вводятся новые термины: периавтокоммуникация и эпиавтокоммуникация для характеристики новых тенденций в автофикшне. Исследование приходит к выводу о принципиальной неразрывности формы и содержания в автофикшне, где композиция и есть само содержание акта самоосознания.

Ключевые слова: автофикшн, композиция, автокоммуникация, фрагментарность, метадискурс, паратекст, травма, риторический пакт.

Традиционный анализ композиции художественного текста, сосредоточенный на описании статичного «скелета» – последовательности глав, системе образов или сюжетных поворотов, – оказывается недостаточным для понимания феномена автофикшна. Этот жанр, находящийся на острие современной литературы, сознательно размывает границы между вымыслом и документом, превращая сам акт письма в инструмент самоисследования. В этой ста-

тье мы предлагаем взглянуть на композицию автофикшна не как на формальный каркас, а как на динамический процесс, сущностно связанный с феноменом автокоммуникации. Именно эта связь позволяет вывести изучение построения произведения из плоскости чистой описательности в антропологическую и семиотическую плоскость, где рождение текста равноценно акту самоосознания.

Концепт автокоммуникации, детально разработанный Ю. М.

Лотманом [2], описывает ситуацию, в которой адресат и адресант сообщения совпадают. В этом замкнутом цикле индивидуального сознания сообщение, циркулируя, не просто передает готовый смысл, а активно генерирует его, «перестраивая самую самоосознающую систему». Мы утверждаем, что художественное творчество, и в особенности автофикшн, по своей природе автокоммуникативно. Писатель, создавая текст, ведет диалог, прежде всего, с самим собой – со своим опытом, памятью и травмой. Более того, сама композиция текста является материальной фиксацией этого внутреннего диалога, его картой и инструментом.

Современный литературный контекст, характеризующийся «этическим поворотом» и «параноидальным чтением» (Л. Муравьева [3], К. Разухина [4]), лишь усиливает автокоммуникативную природу автофикшна. Читатель нового типа, окруженный мнимостями и ложными новостями, испытывает постоянное колебание между доверием к аутентичности опыта и недоверием к любой нарративной форме. В ответ на это автофикшн вырабатывает специфические композиционные стратегии – метадискурс, фрагментарность, работу с паратекстом, – которые являются не просто стилистическими украшениями, а риторическими жестами, направленными на установление нового пакта с читателем. Эти стратегии позволяют вовлечь его в орбиту автокоммуникации, сделав свидетелем и

соучастником процесса смыслопорождения.

Цель статьи – продемонстрировать, что композиционные приемы в автофикшне функционируют как органы смыслопорождения, переводя линейный поток повествования в режим автокоммуникации. Повтор, симметрия, ритмические сбои и намеренная «незавершенность» заставляют текст обращаться самому на себя, генерируя новые смыслы через самоотражение. Мы рассмотрим, как через композицию выстраивается не просто повествование, но траектория самоизменения – и автора в процессе творчества, и потенциального читателя. Следовательно, изучение композиции автофикшна вне парадигмы автокоммуникации оказывается неполным, так как игнорирует его экзистенциальное ядро – способность быть машиной по преобразованию сознания через диалог с самим собой.

В совсем недавней статье Лариса Муравьева рассмотрела композицию как инструмент «неопосредованности» и энактивации травмы. Автор показывает, что классическая нарративная интрига (саспенс, любопытство, удивление) в автофикшне часто намеренно ослаблена. Цель – не манипулировать читательскими эмоциями через сюжет, а создать эффект прямой, «неопосредованной» передачи травматического опыта («эффект неопосредованности <...> эмоций» [3, с. 265]). Композиция в таком случае это не логическая последовательность событий, а карта проработки травмы,

где расположение фрагментов (воспоминаний, документов, рефлексий) имитирует работу памяти и процесс писательского самоисследования. Это прямое воплощение автокоммуникации: текст выстраивается не для внешнего читателя, а как перформативный акт внутреннего диалога, где письмо равно переживанию.

На примере романа «Стыд» Анни Эрно [3, с. 266] Муравьева демонстрирует, что композиция автофикшна часто строится по принципу расследования одного ключевого события. Травматическая сцена дается в начале, а весь последующий текст – это не его линейное развитие, а кружение вокруг него, попытка оживить, проанализировать и интегрировать в личную историю. Эта композиция – материальное свидетельство автокоммуникативного цикла, где «Я» возвращается к одной и той же точке («сообщению от самого себя»), чтобы каждый раз прочитать ее по-новому, обогащенным контекстом последующей рефлексии.

Муравьева подчеркивает на протяжении всей статьи, что автофикшн заключает с читателем особую сделку: он отказывается от традиционных литературных удовольствий в обмен на эмпатию. Поскольку композиция не «завлекает» интригой, эмпатия становится результатом не иммерсии в сюжет, а сознательного этического усилия читателя разделить незавершенный, сырой опыт. Таким образом, композиционная фрагментарность и отказ от классических форм –

это не недостаток, а сознательная стратегия, которая переводит фокус с эстетического восприятия на этическое со-переживание, вовлекая читателя в орбиту автокоммуникации автора.

Рассмотренная Муравьевой дискуссия вокруг «Голода» Светланы Павловой (строгая композиция) и «Хореи» Марины Кочан (композиционный «поток» [Там же, с. 251]) показывает, что в русскоязычной среде композиция становится маркером жанрового понимания. Традиционалисты видят в сильной композиции признак «художественности», тогда как суть автофикшна – в композиции, следующей за логикой травмы и автокоммуникации, которая может восприниматься как «разваленная» и «растекающаяся». Наш тезис о композиции как о «динамическом процессе» прямо противостоит этой критике и находит в статье Муравьевой сильное подтверждение: «разваленность» – не отсутствие формы, а иная форма, соответствующая процессуальной природе самоисследования.

Итак, как показала Муравьева, в автофикшне композиция окончательно сбрасывает маску нейтрального «скелета» текста и раскрывается как перформативная автокоммуникативная стратегия. Она является картографической – рисует не последовательность событий, а траекторию самоисследования, но также энактивирующей – ее цель не рассказать о травме, а пережить ее заново в акте письма, и в конце концов этической – ее «неопо-

средованность» [3, с. 265] и фрагментарность – это вызов читателю, приглашение к эмпатии на основе не сюжета, а разделения самого процесса автокоммуникации. Анализ композиции автофикшна вне парадигмы автокоммуникации и этики чтения оказывается не просто неполным, а принципиально неверным, так как игнорирует экзистенциальное ядро жанра – использование формы для преобразования сознания через диалог с собой и Другим.

Разухина в статье показывает, что автофикшн существует в контексте «параноидального чтения» [4, с. 277], когда читатель постоянно колеблется между доверием к аутентичности опыта и недоверием к фикциональности любого нарратива. Композиция в таком контексте становится не просто структурой текста, а ключевым риторическим жестом, который управляет этим колебанием. Она сознательно выстраивается так, чтобы одновременно сигнализировать и о «правде» (референциальности, аутентичности), и о «вымысле» (художественности, условности). Это прямой ответ на запрос эпохи, пронизанной симулякрами. Разухина на примере «Раны» Оксаны Васякиной демонстрирует, что важнейшим композиционным приемом автофикшна становится метадискурс – прямые высказывания нарратора о процессе письма и конструкции текста («Нарратив растаял...», «Зачем я пишу, что не помню...» [Там же, с. 284]).

Композиционная функция метадискурса состоит в том, добавим, что эти вставки не просто разрушают «четвертую стену», а работают на углубление автокоммуникации. Они являются узлами рефлексии, где «Я-пишущее» напрямую обращается к «Я-переживающему», картографируя сам акт смыслопорождения. Для читателя это стратегия «саморазоблачения», которая парадоксальным образом усиливает иллюзию достоверности, так как демонстрирует работу с «сырым» материалом памяти и травмы.

Вслед за Ф. Гаспарини, употребившем терминологию Ж. Женнета, Разухина настаивает на том, что автофикшн нельзя анализировать в отрыве от его перитекста (интервью, рецензии, предисловия) и эпитекта (биографической информации об авторе, его других текстах) [Там же, с. 281]. Это позволяет уже нам расширить понятие композиции по отношению к автофикшну: в автофикшне композиция выходит за пределы собственно текста и становится *эпиавтокоммуникацией* и *периавтокоммуникацией* (наши термины). Интервью, где автор обсуждает границы вымысла и правды, или упоминание жанра «роман» на обложке – это композиционные элементы, программирующие режим чтения. Они создают тот самый «риторический пакт» и являются неотъемлемой частью автокоммуникативного акта, так как проецируют внутренний диалог автора о своем тексте вовне, в публичное поле.

Упоминание Разухиной о том, что Васякина определяла «Рану» как «роман-поэму» и включала в прозаический текст поэтический цикл «Ода смерти» [4, с. 283], указывает на важнейшую черту композиции автофикшна – сознательную гибридность и кросс-жанровость. Композиция тогда должна пониматься как *предавтокоммуникативный коллаж*: эта стратегия позволяет материализовать «рассыпающийся» нарратив травмы, который не укладывается в линейную, «стройную» форму. Включение разных регистров (проза, поэзия, эссе) в одну композиционную структуру – формальное воплощение автокоммуникации – внутреннего диалога, в котором опыт осмысливается разными языками и с разных точек зрения.

Таким образом, риторический подход, предложенный Разухиной, позволяет уточнить нашу концепцию. Композиция в автофикшне – это не просто *карта автокоммуникативного акта*, а сложный риторический инструмент, работающий на двух фронтах. Внутренне она организует и фиксирует процесс самоисследования (автокоммуникацию) через метадискурс, фрагментарность и гибридность. Внешне она вступает в диалог с «параноидальным» читателем, используя паратекст и стратегии саморазоблачения для заключения нового «риторического пакта», основанного на амбивалентности и доверии к аутентичности, добытой через демонстрацию работы с формой. Следовательно, композиционный анализ автофикшна

должен учитывать не только внутритекстовые приемы, но и всю окружающую текст медийную и дискурсивную среду, которая становится активным участником автокоммуникативного процесса.

Рассмотрение автофикшна через призму риторической теории Кеннета Бёрка [1] открывает исключительно продуктивную перспективу, позволяющую выйти за рамки споров о соотношении факта и вымысла и увидеть в этом жанре мощный инструмент символического действия, направленного на преобразование идентичности. В рамках бёрковской драматической пентады – акт, сцена, агент, агентство, цель – автофикшн предстает не как статичный текст, а как стратегический риторический акт. *Акт* – это само создание текста, который является не отражением уже готового «Я», а перформативным действием по его созиданию. *Сцена* – это как широкий культурный контекст эпохи «параноидального чтения» и этического поворота, так и конкретное медийное поле, где существует автор. Именно на этой сцене разворачивается диалог с читателем, чье доверие необходимо завоевать. *Агент* – это сам автор, но не как целостная личность, а как субъект, расщепленный на «Я-пережившее» и «Я-пишущее». Его задача – совершить акт убеждения. *Агентство* – это те самые композиционные и нарративные стратегии, которые мы обсуждали: фрагментарность, метадискурс, работа с паратекстом, отказ от классической интриги. Это рито-

рические инструменты, или «органы смыслопорождения», которые автор использует для достижения своей цели. Наконец, *цель* – это не просто сообщение о травме, а её экзорцизм, преобразование хаотичного опыта в упорядоченный символ, то самое *перестраивание самоосознающей системы*, о котором и писал Лотман.

С этой точки зрения автофикшн становится актом «идентификации» – ключевой категории риторики Бёрка. Писатель, создавая текст, ведет не монолог, а диалог с самим собой, стремясь к идентификации между своим прошлым и настоящим «Я», между пережитой болью и её языковым воплощением. Композиционная работа – это и есть процесс выстраивания мостов между этими разделенными частями самости. При этом автор вовлекает в этот процесс и читателя, предлагая ему идентифицироваться не с готовым персонажем, а с самим процессом автокоммуникации. Мы сопереживаем не столько истории, сколько мучительному и честному усилию по ее осмыслению, что и рождает ту особую «надежду на эмпатию», о которой пишет Муравьева в своей статье.

Таким образом, автофикшн, прочитанный через Бёрка, – это риторика в её самом глубоком и экзистенциальном смысле. Это символическое действие, предпринятое агентом на конкретной сцене, с помощью специфических агентств, с целью достижения катарсиса и преобразования через идентификацию. Он использует фикциональность не для ухода от реаль-

ности, а как наиболее мощное риторическое средство для атаки на реальность – реальность травмы, разрозненной идентичности и социального отчуждения. В итоге написание автофикшна оказывается актом убеждения самого себя в собственной состоятельности, а его композиция – не скелетом, а живой тканью этого убеждающего жеста, где каждый прием работает на главную цель: *превратить жизнь, которая случилась, в историю, которая имеет смысл*.

Мы теперь настаиваем на том, что композиция автофикшна – это *не структура повествования, а карта самоисследования*, исследования со всеми перитекстами и эпитекстами исследовательской активности. Если в традиционной автобиографии композиция подчинена хронологии или логике жизненных достижений, то в автофикшне она моделирует сам процесс работы памяти и рефлексии. Фрагментарность, монтаж, повторы, ритмические сбои – это не формальные эксперименты, а прямое следствие автокоммуникативного акта. *Композиция следует за движением мысли, а не за датами в календаре*.

Пример: «Кажется, Эстер» Кати Петровской, где композиция, построенная на ассоциативных связях между семейной историей, искусством и личной травмой, является материальной фиксацией попытки собрать собственную идентичность из осколков памяти.

Ключевой композиционный прием автофикшна – «расщепление

нарративного «Я», создающее поле для внутреннего диалога. Автор автофикшн редко выступает как единый и надежный повествователь. Он дробит себя на несколько инстанций: «Я-тогдашнее», «Я-пишущее-сейчас», «Я-как-персонаж», «Я-критик». Композиционное сопоставление этих голосов (например, через прямые обращения к себе в прошлом, комментарии на полях, исправления) визуализирует автокоммуникацию. Это не рассказ о себе, а процесс диалога с собой.

Пример: «Ложится мгла на старые ступени» Александра Чудакова, где постоянная рефлексия нарратора о методах написания текста и смылосозидании его композиции становится главным сюжетом.

Композиционная работа с документами (письма, фото, выписки) – это автокоммуникация, опосредованная внешними «другими». Включая в ткань текста документы, автор автофикшн ведет диалог не только с собой, но и с голосами из своего прошлого. Композиционное решение – где разместить письмо, как его прокомментировать или оставить без комментариев – это акт интерпретации себя через Другого. Документ становится зеркалом, в которое смотрится «Я».

Пример: «Памяти памяти» Марии Степановой, где композиция, построенная как архивный поиск, оборачивается гигантским автокоммуникативным циклом – автор пропускает семейные документы через

свое сознание, чтобы породить новый смысл связи памяти и истории.

Открытая, «незавершенная» композиция – следствие незавершенности автокоммуникативного процесса. Текст автофикшн часто обрывается на полуслове, вопросом, многоточием или просто белым пространством отступа. Это формальное решение отражает экзистенциальную установку: понимание себя – процесс, а не результат. Композиция «без точки» сигнализирует, что внутренний диалог не закончен и текст является лишь его промежуточной стадией. Читатель приглашается не как зритель готового продукта, а как свидетель незавершенного акта самопознания.

Пример: Романы Оксаны Васякиной, где граница между эссе, дневниковой записью и художественно-поэтическим текстом намеренно размыта, что создает эффект «процессуальности» и непрерывной рефлексии.

Композиция автофикшн, наконец, выполняет психотерапевтическую функцию: это акт самописьма как самопреобразования. Выстраивая композицию, автор не просто описывает травму или опыт, а заново проживает и переструктурирует его. Композиционные приемы (повтор с инверсией травматического эпизода, придание ему новой позиции в повествовании) позволяют изменить его смысловой вес. Это прямое воплощение лотмановского тезиса: сообщение, циркулируя в системе, перестраивает саму систему. Рождение

текста равноценно акту самоосознания и исцеления.

Пример: Романы Еганы Джаббаровой, где композиционный контраст между идиллическим выверенным стилем и мрачным содержанием становится формой экзистенциального вызова и попыткой письмом преодолеть внутренний кризис.

Итак, композиция в автофикшне предстает не как статичный структурный каркас, а как динамическая и многомерная машина по производству смысла и идентичности. Она материализует процесс автокоммуникации, в ходе которого автор, ведя внутренний диалог с самим собой, не просто описывает, но и активно перестраивает собственное «Я». Такие приемы, как фрагментарность, метадискурс, работа с документами и намеренная «незавершенность», являются не стилистическими украшениями, а органами смыслопорождения. Они переводят линейное повествование в режим саморефлексии, где текст, обращаясь сам на себя, генерирует новые уровни понимания через самоотражение, делая акт письма актом самоисследования и самопреобразования.

Рассмотрение автофикшна через призму риторики Кеннета Бёрка и в контексте современных читательских практик («параноидальное чтение», «этический поворот») показывает, что композиция выполняет и решающую внешнюю функцию. Она выступает сложным риторическим жестом, направленным на установление нового пакта с читателем. Использо-

зуя паратекст и стратегии «саморазоблачения», автор вовлекает читателя в орбиту своего автокоммуникативного акта, предлагая ему идентифицироваться не с готовым персонажем, а с самим процессом мучительного и честного смыслопорождения. Таким образом, композиция становится мостом, соединяющим внутренний мир автора с внешними ожиданиями, превращая читателя из пассивного потребителя в свидетеля и соучастника экзистенциального диалога.

Расширяя традиционное понимание композиции, статья вводит и обосновывает два новых термина – *периавтокоммуникация* и *эпиавтокоммуникация*. Эти концепты описывают, как автокоммуникативный процесс в автофикшне выходит за пределы основного текста. Периавтокоммуникация относится к диалогу автора с самим собой, опосредованному элементами паратекста: интервью, авторскими комментариями, предисловиями, где автор рефлексировал о границах правды и вымысла в своем произведении. Эпиавтокоммуникация же охватывает автокоммуникацию, разворачивающуюся в более широком дискурсивном поле, включающем другие тексты автора, его биографию и публичные высказывания, которые становятся частью смыслопорождения. Таким образом, композиция автофикшна оказывается рассредоточенной через целый медийный универсум, где внутренний диалог автора проецируется вовне, становясь публичным и продолжаясь в новых контекстах.

Следовательно, любой анализ композиции автофикшна, игнорирующий его автокоммуникативную природу, оказывается неполным и принципиально неверным. Сущность жанра заключается в использовании формы как инструмента экзистенциального преобразования. Композиция здесь – это и карта самоисследования, и пер-

формативный акт переживания травмы, и этический вызов читателю. В автофикшне форма и содержание неразделимы: композиционные стратегии и являются тем самым содержанием – живой тканью диалога автора с собой и Другим, конечной целью которого является *превращение случившегося в осмысленное*.

Библиографические ссылки

1. Берк К. Риторика мотивов: к философии новой риторики / пер., коммент. С. Э. Зверева. СПб. : Алетейя, 2025. 496 с.
2. Лотман Ю. М. Автокоммуникация: «Я» и «Другой» как адресаты (О двух моделях коммуникации в системе культуры) // Ю. М. Лотман. Семиосфера. СПб. : Искусство-СПб., 2000. С. 163 – 177.
3. Муравьева Л. Автофикшн в надежде на эмпатию // Новое литературное обозрение. 2025. № 5 (195). С. 250 – 271. DOI: 10. 53953/08696365_2025_195_5_250
4. Разухина К. Все персонажи и события романа не вымышлены и любые совпадения с реальностью не случайны: риторический подход к осмыслению автофикшена // Новое литературное обозрение. 2025. № 5 (195). С. 272 – 287. DOI: 10. 53953/08696365_2025_195_5_272

A. V. Markov

COMPOSITION IN AUTOFICTION AS A MACHINE OF AUTO-COMMUNICATION

This article argues that composition in autofiction is not a static structure but a dynamic auto-communication machine that generates meaning and transforms the author's identity. Through the analysis of techniques such as fragmentation, meta-discourse, and paratext, the author demonstrates how form becomes a tool for self-investigation and working through trauma. The author proves that these compositional strategies are a rhetorical response to the demands of the era, enabling a new pact with the paranoid reader. Thus, composition serves not only a cartographic but also an existential-therapeutic function, turning writing into an act of self-transformation. The author introduces new terms: periautocommunication and epiautocommunication, to characterize new trends in autofiction. In conclusion, the author asserts the fundamen-

tal inseparability of form and content in autofiction, where composition is the very content of the act of self-realization.

Keywords: autofiction, composition, auto-communication, fragmentation, metadiscourse, paratext, trauma, rhetorical pact.

УДК 801.8

**Д. Т. Алиева
М. А. Егорычева**

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИАЛЕКТОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО И ЮЖНОГО РЕГИОНОВ РОССИИ

В статье произведен сравнительный анализ двух групп диалектов российских регионов – Центрального и Южного. Выявлены и охарактеризованы отличительные черты каждого из говоров. На основе анализа даны выводы.

Ключевые слова: диалект, говор, Центральный и Южный регионы.

Диалектное членение русского языка представляет собой сложную и многогранную систему, изучение которой позволяет проследить историю формирования языка и этнокультурные взаимодействия. В этом контексте центральные и южные русские говоры выделяются как две крупнейшие группы, каждая из которых обладает уникальным комплексом фонетических, морфологических и лексических особенностей.

Центральные (или среднерусские) говоры, имея северорусскую основу, исторически впитали в себя множество южнорусских черт и легли в основу современного литературного языка. Эти говоры характеризуются определённой фонетической системой, которая включает такие особенности, как редукция гласных и специ-

фическое произношение согласных. Морфологически центральные говоры часто демонстрируют упрощение форм, что связано с влиянием городской культуры и массовой коммуникации. Лексический состав этих говоров также разнообразен: он включает как традиционные слова, так и заимствования из других языков, что свидетельствует о высокой степени интеграции с другими регионами.

Южные говоры, напротив, сохраняют архаичные черты, сближающие их с другими восточнославянскими языками – украинским и белорусским. В фонетическом плане южные говоры могут похвастаться сохранением некоторых древних звуковых явлений, таких как акание и яkanie, которые исчезли или трансформировались в центральных говорах.

Морфология южных говоров также более консервативна; здесь можно встретить формы, которые были характерны для древнерусского языка. Лексика южных говоров отличается богатством диалектных слов и выражений, многие из которых имеют глубокие корни в истории региона и отражают его культурные традиции.

Цель статьи – провести сравнительный анализ этих двух групп на различных уровнях языка, опираясь на данные лингвогеографии и научные исследования диалектов. Такой анализ позволит не только выявить различия и сходства между центральными и южными говорами, но и понять, как исторические процессы, такие как миграция населения, экономические изменения и культурные обмены, влияли на развитие этих диалектов. Кроме того, важно рассмотреть влияние социальных факторов на диалектное разнообразие: как современная жизнь, урбанизация и глобализация изменяют традиционные говоры и способствуют их трансформации.

Таким образом, исследование диалектного членения русского языка не только углубляет наше понимание его внутренней структуры, но и открывает новые горизонты для изучения культурных и исторических аспектов жизни русскоязычного населения. Это позволяет создать более полное представление о многообразии русского языка как живого организма, который продолжает развиваться под воздействием различных факторов.

В начале нашего анализа приведенных диалектов следует рассмотреть их лингвогеографическую характеристику и происхождение.

Центральные, или среднерусские, говоры представляют собой интересную языковую группу, которая находится на стыке северных и южных наречий. Эти говоры распространены в областях, которые окружают Москву, такие как Тверь, Владимир, Иваново, а также в Псковской и Новгородской областях. Формирование этих говоров произошло благодаря историческим контактам и взаимному влиянию диалектов, которые были распространены как на севере, так и на юге России [1].

Можно сказать, что центральные говоры стали своего рода «мостом» между двумя крупными языковыми группами. Например, в них можно заметить черты как северных говоров, так и южных. Это произошло потому, что люди из разных регионов общались друг с другом, обменивались словами и выражениями. В результате на основе московского говора этой группы был создан современный русский литературный язык. Иными словами, именно этот говор стал основой для языка, на котором мы сейчас говорим и пишем.

Кроме того, стоит отметить, что территория вторичного формирования среднерусских говоров довольно обширна. Она охватывает такие регионы, как Среднее и Нижнее Поволжье, Урал, Сибирь и даже Дальний Восток. Это произошло в результате миграций

людей, которые переселялись из центральной части России в более удаленные районы. Таким образом, среднерусские говоры распространились на новые территории и адаптировались к местным условиям [2].

Южнорусские говоры представляют собой одну из наиболее интересных и разнообразных групп в системе русских диалектов. Эти говоры охватывают обширные территории, расположенные к югу от Москвы, включая такие области, как Белгородская, Брянская, Курская, Калужская, Орловская, Рязанская, Смоленская, Тамбовская, Тульская, Липецкая и Воронежская.

Исследовательница Т. И. Мурзаева подчеркивает, что даже в пределах одной области, например Саратовской, южнорусские говоры могут демонстрировать значительное внутреннее разнообразие [4]. Это разнообразие проявляется не только в лексике и фонетике, но и в грамматических особенностях. Сложность разграничения южнорусских и среднерусских говоров делает изучение этой группы особенно увлекательным.

Ареал распространения южнорусских говоров не ограничивается только южными регионами. Они также значительно расширились на восток, охватывая Поволжье и другие районы. В этих местах южнорусские говоры часто вступают в сложные контакты с другими диалектами, что приводит к образованию так называемых «вторичных» типов говоров. Эти взаимодействия создают уникальные

языковые особенности и подчеркивают динамичность русского языка в целом [2].

Таким образом, можно проследить взаимосвязь языка с его местоположением, т. е. какое влияние оказывает место проживания на речь людей.

Далее следует провести непосредственный сравнительный анализ языковых особенностей предложенных диалектов. Критериями сравнения станут фонетика, морфология и лексика. Рассмотрим отличительные особенности и на их основе сделаем заключительный вывод об их различиях и сходствах.

Фонетические особенности

Первый признак, по которому будем проводить сравнение, это вокализм, т. е. качество безударных гласных. Говоры центральных регионов отличаются заметным аканьем, это означает неразличение гласных /o/ и /a/ в безударном положении, произношение их как [a] или [ɐ] [5]. В говорах южных регионов наблюдается другая ситуация, здесь преобладает яканье, т. е. это такой особый тип аканья, при котором в определённых позициях (перед ударением) гласные /o/, /e/, /a/ после мягких согласных произносятся как [æ] или [a].

Вторым признаком для сравнения выступит консонантизм, т. е. качество согласных. В обоих регионах они существенно отличаются друг от друга. Так, в центральных широтах преобладает смычной взрывной [г] и произношение [в] как губно-губного, а в южных — фрикативное [ʁ] (глухой

гортанный звук, близкий к [x]) на месте литературного [г] вместе с произношением [в] как губно-губного [w]. В южных регионах также замечаются протетические согласные, это означает появление [в] перед начальными [у] и [о] ([вóкна], [вúлица]), [j] перед начальными [и], [е] ([jетóт]).

Морфологические особенности

Здесь различия затрагивают грамматический строй данных говоров. Так диалекты центральных регионов в большинстве случаев приближены к литературной норме грамматики. Говоры южных регионов заметно отличаются. Здесь заметно, что произносится мягкое -ть ([он ходíть], [онí ходя́ть]) вместо твёрдого -т в литературном языке. В некоторых говорах наблюдается и полное отсутствие окончания -т ([он ходí], [онí ходя́]). Также отличительной чертой является особое использование форм местоимений, например, мянэ́, табé, сабé вместо литературных мне, тебе́, себе́ [2; 5].

Лексические особенности

Лексический уровень языка особенно ярко демонстрирует его связь с культурой и бытом региона. Центральные говоры являются основой литературного языка. Они похожи по словам, но в них могут встречаться местные названия вещей и явлений. Южнорусские говоры отличаются самобытной лексикой, которая активно фиксируется в региональных атласах. Например, в исследованиях можно встретить такие слова, как «ковш», «ухват», «квашня» и «суягная» (о бе-

ременном животном). Особый интерес представляют говоры, возникшие в зонах интенсивных междиалектных контактов. К примеру, кубанский говор сформировался в результате смешения русского и украинского языков, а также южнорусских и украинских говоров, что подчеркивает динамичность и многообразие языковых взаимодействий в этом регионе [3; 5].

В ходе проведённого анализа можно выделить значительные различия в структуре центральных и южных русских говоров. Центральные говоры, находясь на стыке различных диалектов и служа основой для литературного языка, демонстрируют сочетание черт как северного, так и южного происхождения. В частности, они характеризуются аканьем, а также наличием взрывного [г]. В отличие от них южные говоры представляют собой более архаичную и целостную систему, в которой преобладают такие особенности, как яканье и фрикативное [γ]. Эти говоры также отличаются уникальными морфологическими структурами и богатым словарным запасом, который включает множество самобытных слов.

Важно отметить, что эти диалекты не статичны; они находятся в постоянном развитии, особенно в условиях активных междиалектных контактов. Это приводит к появлению новых смешанных форм, которые требуют более детального изучения. Исследование диалектов играет ключевую роль не только для лингвистической науки, но и для со-

хранения культурного наследия России, поскольку в них отражены история народа и его связь с родной землёй.

Библиографические ссылки

1. Russian Dialects: Key Differences, Locations and Pronunciation | FluentU [Электронный ресурс]. URL: <https://www.fluentu.com/blog/russian/russian-dialects/> (дата обращения: 09.11.2025).
2. Баженова Т. Е. Типологическое своеобразие вторичных говоров с южнорусской основой в Среднем Поволжье [Электронный ресурс] // Вестник Самарского университета. История, педагогика, филология. 2021. № 4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/tipologicheskoe-svoebrazie-vtorichnyh-govorov-s-yuzhnorusskoy-osnovoy-v-srednem-povolzhie> (дата обращения: 09.11.2025).
3. Ткаченко П. И. Балакачка. Кубанский говор : опыт авторского словаря. Краснодар : Традиция, 2023. 447 с.
4. Мурзаева Т. И. Динамика южнорусской диалектной системы на территории Саратовской области [Электронный ресурс] // Вестник Самарского университета. История, педагогика, филология. 2016. № 3-2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/dinamika-yuzhnorusskoy-dialektnoy-sistemy-na-territorii-saratovskoy-oblasti> (дата обращения: 09.11.2025).
5. Атлас русских народных говоров центральных областей к востоку от Москвы / под ред. д-ра филол. наук Р. И. Аванесова. Ч. 1. Вступительные статьи, справочные материалы и комментарии к картам. М. : Изд-во Акад. наук СССР, 1957. 1103 с.

D. T. Aliyeva
M. A. Egorycheva

COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF DIALECTS IN THE CENTRAL AND SOUTHERN REGIONS OF RUSSIA

This article presents a comparative analysis of two groups of dialects of Russian regions – Central and Southern. Distinctive features of each of the dialect are identified and characterized. comparative analysis allows to draw conclusions.

Keywords: dialect, accent, southern and central regions.

СУЩНОСТЬ ПАТРИОТИЗМА В КОНТЕКСТЕ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ НАУК

В статье рассматривается феномен патриотизма как сложный историко-философский феномен, включающий как аксиологический, так и праксиологический аспекты. Сущность патриотизма рассмотрена в рамках философского, исторического и психологического подходов, а также как общественная практика.

Ключевые слова: патриотизм, идентичность, Отечество, служение.

Патриотизм как сложный историко-философский феномен – это неотъемлемая часть гуманитарной науки и культуры. Его сущность можно определить как комплекс чувств, убеждений и поступков, ориентированных на признание и поддержку Отечества.

Ещё в древности к признакам цивилизованного общества относилось чувство любви к родным землям, уважение традиций и истории своего народа. Преданность Отечеству – это условие, благодаря которому возможно развитие и самосохранение любой цивилизации. Платон утверждал, что гражданин должен посвятить всю свою жизнь полису, проявляя смелость и мужество в бою, мудрость и справедливость в управлении. Для римской цивилизации патриотизм воплощался в понятиях *virtus* (добродетель)

и *pietas* (благочестие). Понятие *virtus* стало ключевым критерием в оценке политического деятеля, его способности любить страну и умереть за нее.

Мыслители по-разному трактовали сущность патриотизма, возможным объяснением подобного множества определений может стать то, что представления о патриотизме тесно связаны с особенностями исторического развития того или иного общества, со спецификой конкретных политических ситуаций.

Патриотизм включает и праксиологический аспект, проявляясь в поступках и действиях людей. Практический аспект патриотизма направлен на реализацию идей патриотизма в повседневной жизни граждан. Этот аспект подразумевает активные действия и поступки, ориентированные на

поддержание интересов и благополучия общества, стремление оставить положительный след в истории. В этой связи особое значение приобретает категория «служение». Патриотизм, подкрепленный служением, превращается в осознанный акт добра, в дело полезное и необходимое. Служение придает действию целесообразность, позволяет видеть плоды своих усилий и получать удовлетворение от достигнутых результатов.

Обратимся к обзору основных подходов к трактовке понятия «патриотизм».

Философская интерпретация патриотизма предполагает его трактовку как важнейшую из высших нравственных добродетелей, основанную на любви к родине, верности государству и готовности защищать национальные ценности. В рамках данного понимания следует упомянуть подход, выработанный в рамках Великой французской революции, в соответствии с которым патриотом считался борец за народное дело. Эта идея нашла свое развитие в представлениях Я. С. Гогешавили. Патриотом он называет человека, который считает миг, который не был использован на благо Отечества, напрасно потерянным [3, с. 238]. Классический философский подход к патриотизму опирается на идею глубинной связи индивида с родным языком, историей и природой.

Иное понимание патриотизма предлагает Карен Армстронг. По ее

мнению, появление патриотизма как культурного феномена связано с процессом секуляризации и отходом от традиционной религии. Патриотизм выступает как новая форма идентичности. Утрата смысла жизни и страха перед смертью в условиях Нового времени привела к поиску новых источников утешения и идентичности, которыми и стали патриотические чувства. Иными словами, патриотизм заменяет религию в качестве главного источника надежды и утешения. Патриотизм, так же как и религия, обещает спасение и бессмертие, но только через славу предков. Таким образом, новая форма идентичности появилась как ответ на утрату старых религиозных гарантий и развивается как компенсаторная реакция на разрушение привычного жизненного уклада.

Оригинальную концепцию «нового патриотизма» предлагают Майкл Уолзер и Дэниэл Белл. В отличие от традиционного патриотизма, основанного на любви к земле и крови, новый патриотизм должен основываться на ценностях свободы, справедливости и солидарности. «Старый патриотизм» в условиях современного общества исчерпал себя и перестал отвечать цивилизационной парадигме, так как основывался, по мнению авторов, на восприятии другого как чужого и опасного. Новый патриотизм, фокусируясь на общечеловеческих ценностях и идеалах, освобождается от привязанности к конкретной территории. Новый патриотизм признает необходимость сотрудничества и интеграции в

глобальном масштабе. Эта концепция предполагает понимание патриота как гражданина, имеющего право голоса, вносящего свой вклад в развитие общества.

По мнению представителей исторических наук, чувство патриотизма формируется в процессе исторического развития народа, отражая его успехи и поражения, победы и трагедии. Осознание собственной истории порождает в сознании человека гражданскую ответственность за судьбу Отечества, стремление служить его интересам.

Исследование патриотизма с психологической точки зрения позволяет сделать вывод о том, что это особое чувство, которое выступает как надсознательный процесс. И это чувство является естественным состоянием человека. Оно связано с вопросом выживания человека. Патриотизм является стремлением человека быть частью большой группы людей для обеспечения максимальной безопасности от угроз окружающего мира. Патриотизм, по мнению психологов, зарождается в тот период, когда человек подсознательно начинает ощущать преданность своей стране, то есть обширной группе людей, которая связана границами, языком, мировоззрением.

С общественной точки зрения, патриотизм – явление правильное, верное и поощряемое, поскольку способствует успешному и продуктивному развитию определённой группы людей. Но, по мнению исследователей, можно выявить и определённые

негативные проявления чувства патриотизма. В ходе формирования чувства патриотизма патриотом стираются границы своей собственной личности, и передаются группе. Это позволяет личности слиться с обществом. Важнейшим фактором, способствующим сплочению общества, является ненависть к врагу. Следует также отметить, что патриотизм – это чувство, связанное с проблемой выживания индивида, и оно оказывает сильное воздействие практически на все стороны жизни человека, начиная от поведения и заканчивая мировоззрением. Это приводит к тому, что человек, полностью ориентированный лишь на одну группу, пытающийся во всём ей соответствовать, становится закрытым для чего-то нового.

Особой формой патриотизма можно считать религиозный патриотизм. Данная форма патриотизма предполагает, что любовь к родине и её защита сочетаются с верой в Бога и соблюдением религиозного канона. Такая форма патриотизма присутствует практически во всех крупных религиях мира, таких как христианство, ислам, иудаизм и индуизм. Религиозный патриотизм чаще всего проявляется в рамках церковных общин. Здесь действуют особые механизмы социальной солидарности и чувства принадлежности к общине. Религиозный патриотизм развивается, прежде всего, как результат реализации желания восстановить утраченные связи с прошлым и обретения чувства гордости за принадлежность к великой

культуре и вере. Следует отметить, что популярность религиозного патриотизма растет в условиях нестабильной политической обстановки и усиливается с ростом религиозной активности населения.

Библиографические ссылки

1. Баронина К. А. Особенности интеграционных процессов в системе патриотического воспитания России в начале XXI века // Педагогическое образование и наука. 2010. № 1. С. 538 – 540.
2. Педагогика : учеб. пособие для студентов пед. ин-тов / Н. И. Болдырев [и др.]. М. : Просвещение, 1968. 169 с.
3. Гогешашвили Я. С. О воспитании нового человека – патриота // Антология гуманной педагогики. М. : ИД Шалвы Амонашвили, 2002. С. 236 – 242.
4. Гончаров Н. К. Историко-педагогические очерки. М. : Изд-во Акад. пед. наук РСФСР, 1963. С. 123 – 130.
5. Ильина Т. А. Педагогика : курс лекций [Для пед. ин-тов]. М. : Просвещение, 1984. С. 111 – 113.
6. Колмакова М. Н. Ф. Ф. Королев – ученый, педагог, журналист // Советская педагогика. 1989. № 2. С. 211 – 213.
7. Магарил С. А. Смыслы патриотизма – исторические трансформации [Электронный ресурс] // Социологические исследования. 2016. № 1. С. 142 – 151
Режим доступа: http://socis.isras.ru/files/File/2016/2016_1/142_151_Magaril.pdf
(дата обращения: 10.10.2025).
8. Муращенкова Н. В. Структура социальных представлений молодежи об экстремизме и патриотизме // Современные исследования социальных проблем. 2012. № 12. С. 11 – 15.
9. Салихов Д. Х. Эволюция понятия патриотизма в педагогике: взгляд с точки зрения философско-культурологического подхода // Научные исследования в образовании. 2008. № 1. С. 4 – 8.
10. Султонов А. И., Джумаева Н. И. Воспитание молодежи в духе патриотизма, толерантности в преподавании социально-гуманитарных дисциплин // Молодой ученый. 2015. № 3. С. 853 – 855.
11. Ряхов Д. Г. Историко-педагогический анализ проблемы патриотического воспитания в образовании // Среднее профессиональное образование. 2007. № 6. С. 65 – 67.

Е. В. Bazaev
L. S. Andreeva

**THE ESSENCE OF PATRIOTISM IN THE CONTEXT OF SOCIAL
AND HUMANITARIAN SCIENCES**

The article examines the phenomenon of patriotism as a complex historical and philosophical phenomenon that includes both an axiological and a praxeological aspect. The essence of patriotism is viewed within the framework of philosophical, historical and psychological approaches, it is also described as a social activity.

Key words: patriotism, identity, Fatherland, service.

УДК 291

О. В. Гарькина

**ФОРМИРОВАНИЕ КОНЦЕПЦИИ ФЕТИШИЗМА ШАРЛЯ ДЕ БРОССА
(ФИЛОСОФСКИЕ, ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ
И РЕЛИГИОВЕДЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ)**

Статья посвящена анализу концепции фетишизма, предложенной французским этнографом Шарлем де Броссом в XVIII веке. Работа де Бросса рассматривается как одна из первых попыток создания научной концепции общей теории религии, отделенной от теологических проектов.

Ключевые слова: фетишизм, культ, религия, примитивная форма мышления, божество.

Введение

В контексте современных «пост-колониальных» исследований отмечается, что в промежутке между XV и XVIII столетиями происходил процесс распространения и возникновения обобщенного истолкования термина «фетиш». Первоначально разработанный в строго локальном (гвинейском) контексте термин оказывается перенесенным на все так называемые «дикие» и «примитивные» народы и цивилиза-

ции. Колонизация внесла свою лепту в теоретическую и идеологическую гомогенизацию представлений о народах, занимавших, по версии «белых господ», низшие ступени социальной и культурной эволюции [1, р. 6].

Теория религии «диких» и «примитивных» народов

Термин «фетишизм» стал одной из первых попыток разработки научной концепции общей теории религии, отделявших себя от конфессиональ-

ных богословских и теологических проектов, как, к примеру, это сделал Д. Юм (David Hume, 1711 – 1776), автор трактата «Естественная история религии» («The natural history of religion», 1757), где утверждалось, что любой непредвзятый, т. е. собственно научный, анализ приводит к выводу, что древнейшей религией человечества был не библейский «монотеизм», но считавшийся маргинальным «политеизм», наблюдаемый путешественниками у многих народов. Новое и оригинальное исследование так называемых «диких» и «примитивных» народов появилось в 1760 г. в анонимно опубликованном очерке Шарля де Бросса (Charles de Brosses, 1709 – 1777) под названием «О культе богов-фетишей, или Сравнение древней религии Египта с современной религией Нигритии» («Du culte des dieux fétiches ou Parallèle de l'ancienne religion de l'Egypte avec la religion actuelle de Nigritie»). Им была представлена особая концепция фетишизма, созданная для обозначения того, что тогда представлялось древнейшими верованиями и первобытным культом всего человечества, где именно фетиши выступили как элемент любой религии как таковой, распространившись по всей Земле [1, р. 7].

Он провел различие «фетишей» и «богов», будучи убежденным в том, что первые исторически предшествуют вторым, а фетишизм – политеизму.

В своей теории этнограф использует три составляющие: во-

первых, выводы, сделанные в те годы на основе сравнительного изучения религии, традиций и поведения людей древних цивилизаций и «диких» народов Нигритии (также Негроленд, или Такрур, – архаическое европейское название региона Африки, который располагался от бассейна Верхнего Нила на востоке до Атлантического океана на западе, т. е. территория, охватывающая большую часть Африки к югу от Сахары); во-вторых, результаты дискуссии того времени о происхождении человечества в результате открытия и начала изучения так называемых «диких» народов; в-третьих, прогрессивизм, характерный для Европы эпохи Просвещения [Там же, р. 6].

Согласно де Броссу, догматические представления и практические обряды у первобытных народов основываются на культе светил, известном как «сабеизм» (в настоящее время используется термин «астролатрия» – поклонение звездам) и на культе земных и материальных предметов, которые африканцы называют фетишами. В связи с тем, что поклонение фетишам сохранялось у населения Западной Африки, которое стало изучаться в этот период, этнограф вводит название «фетишизм» для обозначения данной группы сходных практик. При этом он отметил, что этим термином могут обозначаться верования и практики всех народов, у которых отмечены аналогичные «предметы культа – животные или существа неодушевленные, однако обоготворяемые»

[3, 16]. Они, очевидно, отличны от верований и практик европейцев (христиан разных конфессий), образуя общность верований тех народов, у которых подобные предметы «являются не столько богами, сколько вещами, лишь одаренными божественной силой» [Там же], т. е. «амулетами», «талисманами», «оракулами» и тому подобными объектами.

Термином «фетишизм» французский ученый маркировал особые социальные практики – культ явлений природы, животных и неодушевленных предметов [4, с. 34]. Он отмечал, что «божественный фетиш не что иное, как первый материальный предмет, который любому народу или любому человеку захотелось избрать своим божеством, а затем предоставить жрецам освятить его в особой церемонии» [3, с. 20]. Де Бросс указывает на тот факт, что фетишем может выступать любой предмет (камень, гора, дерево и др.), живое существо или растение и вообще все, что можно представить себе похожее на эти вещи. Причинами формирования фетишизма как универсального класса верований он считал страх перед невидимыми силами, удивление, признательность, рассудительность, невежество и в целом чувства людей, порождающие такие религиозные феномены, которые по отдельности оказывали свое воздействие на народы, вследствие чего они по-разному приобретали «более или менее просвещенный рассудок» [3, с. 91].

По мнению де Бросса, как и для упомянутого ранее Д. Юма, одни и те же действия совершаются по одному и тому же правилу: это общая идея, которая лежит в основе всего сравнения африканских «дикарей» с народами древних времен. Ученый делает акцент на том, что «все эти народы обладали одинаковым способом мышления: ведь они обнаруживали одинаковый способ действия, являющийся его следствием» [Там же, с. 19].

Таким образом, мы обнаруживаем, хотя и в форме простого утверждения, своего рода теорию примитивного мышления, из которой исследователь выводит свой сравнительный метод. Именно примитивное мышление в изоляции порождает среди различных и далеких «диких» народов сходные в общем и одинаковые «грубые верования» [1, р. 6].

Описание фетишизма у де Бросса в СССР могло трактоваться как «материалистическая» концепция, которая была направлена против «идеалистических» воззрений о «дикаре-философе» [7, с. 126]. Сосредоточившись на изучении древнего этапа в истории религии, этнограф отмечал, что человек устроен таким образом, что в своем естественном состоянии, «грубом и диком», он, соответственно, имеет и примитивные нравы. Постоянное однообразие жизни дикаря, проявляющееся в страхах и надеждах, приводит к поступкам, которые лишены какого-либо рационального и «взрослого» смысла, выступая как «детские»: «к чему удивляться, видя

народы, постоянно проводящие свою жизнь в непрерывном детстве, — их рассудку никогда нет более четырех лет, они судят без каких-либо правил и действуют как судят...» [3, с. 84].

Ученый указывает на тот факт, что в результате «благочестивого легковерия» укореняются привычки, которые в дальнейшем возводятся в ранг священных обычаев, замечая, что «их древность удерживает их у одной части народа, тогда как другая часть, может быть, подсмеивается над ними... примешивает их к другим господствующим культам и к новым догматам» [Там же]. Таким образом, Шарль де Бросс, анализируя происхождение фетишизма, видел в нем не результат культурного обмена или заимствования, а спонтанное проявление человеческой природы, интуитивно склонной к одушевлению предметов и приписыванию им сверхъестественных свойств. Эта склонность, по его мнению, коренится в невежестве и страхе перед неизвестным, заставляющих людей искать защиту и объяснение в мире фактических вещей.

Де Бросс подчеркивал, что фетишизм является универсальной формой религиозного мышления, появляющегося независимо в разных культурах. Он находил его следы в верованиях африканских племен, античных цивилизаций и отдельных практиках христианства, где почитались реликвии святых.

Фетишизм как антропологическое явление проявляется не только в личных предпочтениях, но и в коллек-

тивных ритуалах, которые пронизывают различные культуры. Этот сложный обмен между человеком и его фетишем служит отражением глубинных желаний и страхов, выступая в роли моста между телесным и высшим.

Какими бы ни были обычаи, но сила привычки способна удерживать их на протяжении долгих лет. Это особенно верно для тех, кто следует им не задумываясь, не стремясь понять, есть ли в их действиях какой-то глубинный смысл. Даже если люди перенимают «лучшие практики», старинные обычаи, укоренившиеся в их жизни, с завидной неохотой отступают на второй план, продолжая существовать рядом с новыми традициями. Привычка, словно неумолимый страж, оберегает старинные практики, заставляя их сосуществовать с теми, которые, возможно, открывают новые горизонты понимания. В итоге дух времени одевается в многослойное покрывало устоев, где старое не исчезает, а переплетается с новым, создавая уникальное сплетение, богатое смыслами и оттенками [Там же, с. 101].

Для фетишистов предметы-фетиши обладают сверхъестественными способностями и могут принести счастье или несчастье своему обладателю в зависимости от их настроения. В их понимании мир наполнен таинственными силами, которыми можно управлять и контролировать через обряды и жертвоприношения.

Шарль де Бросс, сопоставляя верования африканцев Нигритии с древ-

неегипетской религией, делает акцент на том, что Египет прошел через период варварства подобно другим странам [3, с. 39]. Именно это наблюдение позволило ему выстроить смелую гипотезу о примитивных корнях величия Египта. Бросс, будучи сторонником деистических взглядов, воспринимал религию как продукт человеческого воображения, подверженный эволюции и деградации. Следовательно, африканские культы представлялись ему не чем-то принципиально отличным от древнеегипетских верований, а скорее, их прототипом, сохранившимся в «неиспорченном» состоянии.

Эта концепция, безусловно, отражала европоцентристские представления эпохи Просвещения, склонные к упрощенному пониманию неевропейских культур. Тем не менее де Бросс внес важный вклад в сравнительное религиоведение, указав на возможные связи между африканскими и древнеегипетскими и христианскими религиозными практиками, подтолкнув к дальнейшему изучению этих связей.

Шарль де Бросс был одним из первых, кто поставил проблему закономерного развития религии и пришел к выводу, что познание этого процесса возможно лишь на пути сравнительного изучения верований различных народов. Однако в теории фетишизма, представленной автором в своем труде «О культе богов-фетишей...», мы можем найти внутренние противоречия в смешении им культа неодушевленных предметов (именно это и понимали

впоследствии под фетишизмом) с культом животных, или зоолатрией, с анимизмом и тотемизмом. Стоит отметить, что на момент написания работы таких понятий еще не существовало, но сами соответствующие явления он ввел в свою концепцию [5].

Стремясь доказать свою теорию первобытной религии, этнограф сравнивает на конкретных примерах верования африканских народов с древнеегипетской религией. Так, например, в королевстве Уида, находившемся на берегу Гвинеи, был распространен культ полосатой змеи, одного из знаменитых божеств африканцев. Змея, о которой идет речь, согласно представлениям того времени изначально была божеством народов Арды, но их дурной характер и преступления привели к тому, что они стали считаться недостойными ее покровительства. Во время конфликта между народами Арды и Уиды змея предпочла уйти к последним и оказалась почитаема в новом сообществе, за что и отблагодарила народ Уиды победой над врагом. Стоит отметить, что эта змея не являлась ядовитой.

Для змеи соорудили храм, всячески почитали ее, установили фонд для ее содержания, избрали жрецов для служения и молодых девушек для посвящения ей. В дальнейшем новое божество возвысилось над остальными, покровительствуя практически во всех сферах жизнедеятельности этому народу. Потомство божественной змеи пользовалось не меньшим почитанием. Змей угощали молоком, стро-

или гнездо для потомства и заботились о нем, пока оно не подрастет. Убийство или ранение змеи считалось грехом и наказывалась народом соответственно – смертью на месте или сожжением [3, с. 22 – 23].

Подобное почитание змеи можно встретить, по мнению де Бросса, в религии Египта, где змея, как и в Нигритии, считалась одним из наиболее древних божеств. Так, египетский бог Кнеф изображался в виде змеи, а другое божество – Тот, как бог исцеления, изображался опирающимся на узловатый посох, который обвивала змея. Змей также символически обозначал Исиду и был важной частью ее мистерий [2].

Французский этнограф указывает на существование еще одного общего фетиша в Египте – реки Нил, которая считалась объектом культа. Канопический рукав Нила (западный рукав Нила, на котором находился город Каноп) и бык Апис имели своих жрецов и свои храмы по всему Нижнему Египту, в то время как баран Аммон – по всему Верхнему Египту. Каждая провинция (ном) имела свое священное животное, так, например, кошка – божество в Бубасте, бык – в Гелиополисе, орел – в Фивах и др. Причем в каждом номе могло почитаться несколько животных [3, с. 43].

Забота о священных животных в Египте считалась важным действием, что ей не смели пренебрегать даже во время голода. Те, кто поклонялся животному как божеству, не употребляли

его мясо в пищу. Убийство священного животного наказывалось смертью.

Шарль де Бросс отмечает сходство в обрядах захоронения мертвых в Египте и Нигритии. При захоронении своих усопших африканцы помещали в могилу фетиш, которому отдавали особое почитание. В Египте вместе с мумиями в гробницах находят животных – кошек, птиц и другие тщательно забальзамированные останки, сопоставимые с человеческими. Львы, козы, крокодилы и прочие существа в Египте имели статус оракулов, как и фетиши в Нигритии.

Обе культуры обладали жрецами и жрицами, посвященными поклонению этим божествам, образуя отдельное сословие, отдаленное от широкой массы народа. Роль жрецов передавалась по наследству, как правило, от родителей к детям. Как в Египте, так и в Нигритии, люди часто носили фетиши с собой, будь то во время военных действий или в другие значимые моменты жизни [Там же, с. 50].

Де Бросс утверждает, что фетишизм – основа всей человеческой религиозной практики и существовал задолго до возникновения монотеистических учений. Проводя параллели между верованиями народов Африки с религией египтян и другими религиозными представлениями народов Древнего мира, французский исследователь, выдвигает тезис, что фетишизм – архаическая форма религии, которая всегда будет присутствовать в сознании человека, несмотря на развитие науки и техники.

В своих исследованиях он не ограничивает фетишизм рамками африканской культуры, а рассматривает его как стадию в эволюции религиозных представлений как таковых. Отмечает, что даже современные общества могут сохранять элементы фетишизма в своих обрядах и повседневной жизни, хотя чаще всего это проявляется скрыто или в неосознанной форме.

Де Бросс акцентирует сходство между фетишизмом и современными ему религиозными представлениями, постулирует, что фундаментом любой веры является убеждение в существовании сверхъестественного и возможности его контроля. Кроме того, он указывает на тот факт, что общественные обряды и культовые практики, которые мы видим в современных религиях, имеют свои корни в архаическом фетишизме.

Несмотря на признаваемую де Броссом существенную роль фетишизма в генезисе религиозных представлений человечества, он констатирует постепенное снижение его прямого влияния по мере развития социума и научного знания. Фетишизм, таким образом, рассматривается им как ранняя стадия развития религиозности, уступающая место более развитым формам в процессе исторического прогресса.

Выводы

Шарль де Бросс в своей работе «О культе богов-фетишей» (1760), предложил концепцию фетишизма как примитивной формы религии, свой-

ственной африканским народам. Он видел в ней поклонение неодушевленным предметам, наделяемым в народном воображении сверхъестественной силой. Предложенная им теория фетишизма впоследствии подверглась серьезной критике. Отмечалось, что де Бросс, во-первых, экстраполировал ограниченные наблюдения на весь африканский континент, создавая обобщенный и упрощенный образ подчеркнуто «примитивного» мышления. Во-вторых, фетишизм, с этой точки зрения, не просто иррационален, но и находится за пределами разума как такового. Он игнорировал фактическую сложность и разнообразие религиозных практик, сводя их только к поклонению «фетишам» [6, с. 83].

Несмотря на критику, вклад де Бросса в развитие культурной антропологии и религиоведения неоспорим. Он одним из первых обратил внимание на религиозные верования так называемых «незападных» культур, стимулируя интерес к сравнительному изучению религий. Его работа стала отправной точкой для целого ряда последующих исследований, которые стремились понять религиозные феномены разных стран и народов в их историческом и культурном контексте, а не просто односторонне и оценочно классифицируя их как «примитивные верования дикарей». Интересный пример визуальной интерпретации этих проблем представил в конце XX столетия известный фильм «Ягуар» (Le Jaguar, 1996) режиссера Франсиса Вебера

(Francis Veber), считавшего что у него «армяно-славянская душа», где в одной из главных ролей снимался испано-французский актер Жан Рено (Jean Reno, Juan Moreno у Herrera Jiménez), родившийся в Марокко, то-

гда части Французской Африки (Protectorat français du Maroc), наглядно показав всю условность «западных» и «незападных» контекстов перед глобальными угрозами «бездушного зверства».

Библиографические ссылки

1. Par аям. Iacono. Le fétichisme histoire d'un concept. Presses Universitaires de France, 1992. 128 pp.
2. Батерст Дин Джон. Культ змея в Египте и Африке [Электронный ресурс]. URL: http://samlib.ru/s/shugrina_j_s/afr.shtml (дата обращения: 19.09.2025).
3. Бросс Шарль де. О фетишизме / общ. ред. и предисл. М. И. Шахновича ; пер., примеч. и библиограф. очерк Л. Р. Дунаевского. М : Мысль, 1973. 206 с.
4. Дубровская О. С. Эволюция культовой скульптуры: от камня к монументу. Ч. I. Камни-идолы, идолы из камня, боги и герои // Academia. Архитектура и строительство. 2011. № 3. С. 32 – 40.
5. Кабо Владимир. Происхождение религии: История проблемы [Электронный ресурс] // Научно-исследовательский центр «Лаборатория альтернативной истории». Канберра : Алчеринга, 2002. URL: <https://lah.ru/prip/> (дата обращения: 12.09.2025).
6. Соболев Ю. В. Эстетическая природа фетишизма // Вестник Томского гос. ун-та. 2015. № 393. С. 83 – 91.
7. Францев Ю. П. У истоков религии и свободомыслия. М. : Изд-во Академии наук СССР. 1959. 574 с.

O. V. Garkina

FORMATION OF THE CONCEPT OF FETISHISM BY CHARLES DE BROSE (PHILOSOPHIC, ETHNOGRAPHIC AND RELIGIOUS ASPECTS)

The article is devoted to the analysis of the concept of fetishism proposed by the French ethnographer Charles de Brosse in the XVIII century. De Brosse's work is considered as one of the first attempts to create a scientific concept of a general theory of religion, separated from theological projects.

Keywords: fetishism, cult, religion, primitive form of thinking, deity.

ДИАЛОГ НАУКИ И РЕЛИГИИ В КОНТЕКСТЕ ПРОБЛЕМАТИКИ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА (ПРОЕКТЫ ИТ-СПЕЦИАЛИСТОВ, БОГОСЛОВОВ И РЕЛИГИОВЕДОВ)

Статья посвящена рассмотрению проблемы восприятия и оценки искусственного интеллекта (ИИ) в различных областях знания: информационных технологиях, богословии и религиоведении. Выявляется существенный ценностный разрыв в понимании природы и последствий развития ИИ между технооптимистичным подходом ИТ-специалистов, критической охранительной позицией богословов и нейтральным анализом феномена сакрализации ИИ в религиоведении.

Ключевые слова: искусственный интеллект, теология, религиоведение, технооптимизм, трансгуманизм, этика, антропология, сакрализация.

Введение

С. Л. Франк (1877 – 1950) в контексте противостояния с советской идеологией, утверждавшей о несовместимости науки и религии, отмечал, что «история показывает, что все народы мира, первобытные и грубые и самые культурные, имеют религиозные представления и религиозную веру, в том числе и те народы, у которых еще нет никакого деления на классы или сословия; что есть многие народы, у которых вообще нет касты “жрецов” или священников, но которые вместе с тем глубоко религиозны (например, хотя бы народы античного мира)» [8, с. 3]. Современные подходы к этой проблематике позволяют принять более корректное утверждение, что отношения «правды вѣры» и «правды академии» включали в истории «как противоречия, так и глубокий диа-

лог», представляя, по словам М. В. Ломоносова (1711 – 1765), «двух дочерей одного Всевышнего родителя», когда, постигая природу, «чем больше таинства ее разум постигает, тем вящее увеселение чувствует сердце» [2, с. 191]. Иногда творчество М. В. Ломоносова относят к «первым главам» становления отечественного религиоведения [3, с. 74].

В таком широком и универсальном контексте и в связи с тем, что цифровые технологии упрочили свои позиции во всех сферах современного общества [5, с. 79], феномен искусственного интеллекта перестал сегодня рассматриваться исключительно как предмет инженерных проектов, трансформировавшись в масштабный вызов для переосмысления целого ряда философско-антропологических и религиозно-этических оснований че-

ловческого бытия [11]. Его описания и оценки в литературе крайне неоднородны и зависят от профессиональной и ценностной позиции каждого конкретного исследователя. Наш текст стремится представить только некоторые аспекты сравнительного анализа проблематики и нарративов ИТ-специалистов, богословов и религиоведов, позволяющего выявить системный разрыв в понимании природы и последствий развития ИИ, попытавшись обосновать перспективы и поиски путей достижения согласия и основания для их диалога.

1. Технооптимизм и утилитаризм ИТ-сообщества

Дискурс ведущих ИТ-специалистов и компаний, к примеру, представленных рядом известных проектов OpenAI, DeepMind, нарративами Р. Курцвейла (R. Kurzweil), Н. Бострома (N. Bostrom) и других, строится на парадигме технооптимизма и утилитаризма [4; 9]. В данном контексте ИИ воспринимается как:

- инструмент для решения глобальных проблем (медицина, климат, эффективность и т. п.);
- естественное продолжение эволюции и технопрогресса, своего рода «превосхождение» человека (трансгуманизм) [4];
- объект для масштабирования – главными критериями являются мощность, эффективность и возможность масштабирования.

Этические вопросы в этом дискурсе часто сводятся к проблеме «без-

опасности» (AI Safety), т. е. того, как создать мощный ИИ, чтобы он при этом не навредил человеку, что является, по сути, технической задачей по созданию «дружественного» интерфейса [11]. Глубинные вопросы, исторически формулируемые богословием (теологией) и философией (философским религиоведением) о переопределении человека, души или смысла существования часто маргинализируются как нерелевантные для инженерного процесса.

2. Богословская критика и охранительная антропология

В отличие от утилитаризма инженеров богословский дискурс (представленный, например, в ряде интервью [6] и публикациях [1] отечественных представителей Русской православной церкви и западных теологов) фокусируется на тематике антропологии и творения. Можно выделить некоторые ключевые тезисы.

- Вопрос о душе и творении: может ли машина обладать сознанием, душой или это прерогатива только божественного творения? Наделение машины «сознанием» рассматривается как акт гордыни, попытка присвоить себе божественную способность творить разумную жизнь, как отмечается такими богословами, как митрополит Иларион (Алфеев) [6] и прот. Павел Великанов [1], западным теологом и философом Андреа Веструччи (A. Vestrucci) и др.

- Этика ответственности: акцент смещается с эффективности на ответственность перед Богом и людьми.

Развитие технологий, способных подменить человека или имитировать его уникальные качества (любовь, совесть, творчество), рассматривается как угроза богоданной природе человека [1].

- Свобода воли vs. детерминизм алгоритма: подчеркивается фундаментальное различие между человеческой свободой, включающей моральный выбор и интенциональность, с одной стороны, и детерминированностью ИИ, действующего в рамках заложенных алгоритмов и данных, – с другой. В то время как философы сознания, например, Дж. Сёрль (J. R. Searle) [13] или специалисты по этике ИИ напрямую аргументируют это различие на философско-техническом уровне, богословы (митрополит Иларион (Алфеев)) подходят к нему с иной стороны, указывая на онтологическое различие между богоданной природой человека, несущей в себе образ Божий (включающий свободу), и природой машины как технического творения человеческих рук [6]. Таким образом, богословская критика утверждает не просто детерминизм ИИ, а его принципиальную иноприродность человеку.

В таком контексте можно утверждать, что богословие (теология влиятельных конфессий и религиозных сообществ) выступает как хранитель традиционной антропологической модели, указывая на онтологические, а не только технические риски ИИ.

3. Религиоведческий анализ: ИИ как объект сакрализации

Отечественные религиоведы, к примеру Е. Б. Рашковский, как и их западные коллеги, к примеру Р. М. Джераси (R. M. Geraci) и Э. Дэвис (E. Davis), анализируют ИИ через призму сакрализации и мифологизации [12; 7]. Они отмечают, что вокруг ИИ формируются новые формы квазирелигиозного сознания:

- Dataism (термин Ю. Н. Харари [9]) как культ данных, где вера в объективность BigData и всемогущество алгоритмов заменяет традиционную религию. Процесс принятия решений на основе данных сакрализуется, алгоритм становится непогрешимым оракулом, а сам «датаизм», как полагают некоторые, может стать «новой религией XXI века» [10].

- Светская эсхатология: идея сингулярности Р. Курцвейла – это классический миф о «парусии», пришествии «техно-спасителя», который выведет человечество в новое измерение бытия, своего рода «цифровое бессмертие» [4; 12].

- Ритуалы и «магия»: язык ИТ-сообщества («нейронные сети», «обучение», «чёрные ящики») наполнен метафорами, делающими сложные технологии понятными и одновременно окружёнными ореолом таинственности, сходным с магическим мышлением [7].

Религиоведение показывает, что даже самый рациональный технокурс не свободен от религиозно-магических структур мышления, что требует их критической рефлексии.

Заключение

Проведенный анализ демонстрирует не столько разницу в подходах, сколько глубокий ценностный разрыв. Сообщество инженеров видит в ИИ только техническую функцию [11; 4], богословы видят угрозу онтологическому статусу человека [1], а религиоведы – новый миф [12; 7].

Преодоление этого разрыва не академическая, а практическая необходимость. Без интеграции технического экспертного знания с гуманитарной мудростью, накопленной в богословии и философии, регулирование ИИ рискует быть либо запоздалым, либо поверхностным, либо чисто технократическим, не затрагивающим сути антропологических рисков [11; 1].

Таким образом, очень важно отвечать на настоятельную потребность в создании постоянных меж-

дисциплинарных площадок (конференций, рабочих групп, экспертных советов и т. п.). Их целью должен стать не поиск формального компромисса, а взаимное обогащение: инженеры должны понять глубину встающих перед ними этических антропологических вопросов, а гуманитарии – реальные возможности и ограничения технологий. Диалог уже ведется, его активное, разностороннее и многоплановое развитие будет, как предполагается, способствовать достижению положительного результата. Важно его поддерживать на регулярной основе и в глобальном контексте. Именно такой диалог может стать основой для ответственного конструирования будущего, где мощная сила ИИ будет направлена на укрепление, а не на разрушение человеческого в человеке [1; 7].

Библиографические ссылки

1. Богословие и технологический прогресс : сб. ст. / под ред. прот. П. Великанова. Сергиев Посад : МДА, 2021.
2. Доценко А. А., Аринин Е. И. Феномен М. В. Ломоносова в истории отношений науки и религии // Социально-политические науки. 2024. Т. 14. № 5. С. 191 – 197.
3. Костылев П. Н. М. В. Ломоносов и научное изучение религии // Вестник Московского университета. Серия 7: Философия. 2011. № 5. С. 74 – 82.
4. Курцвейл Р. Сингулярность уже близка. М. : АСТ, 2022.
5. Маркова Н. М. Цифровизация религии: анализ современных богословских, философских и религиоведческих тенденций // Гуманитарные ведомости ТГПУ им. Л. Н. Толстого. 2024. № 3(51). Т. 2. С. 77 – 86.

6. Митрополит Иларион (Алфеев). Искусственный интеллект не сможет заменить священника [Электронный ресурс] // Интерфакс-Религия. 2021, 20 сент. URL: <https://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=74400> (дата обращения: 15.10.2025).
7. Рашковский Е. Б. Наука и религия в современном антропологическом измерении // Вопросы философии. 2019. № 4.
8. Франк С. Л. Религия и наука. Брюссель : Жизнь с Богом, 1953. 28 с.
9. Харари Ю. Н. Homo Deus. Краткая история будущего. М. : Синдбад, 2018. 496 с.
10. Что такое датаизм и почему он станет новой религией XXI века [Электронный ресурс] // МЕЛ. URL: https://mel.fm/zhizn/knigi/9087124-homo_deus?ysclid=mi3ygt8f9e717963223 (дата обращения: 15.10.2025).
11. Bostrom N. Superintelligence: Paths, Dangers, Strategies. Oxford University Press, 2014. 352 p.
12. Geraci R. M. Apocalyptic AI: Visions of Heaven in Robotics, Artificial Intelligence, and Virtual Reality. Oxford University Press, 2010. 248 p.
13. Searle J. R. Minds, Brains, and Programs // Behavioral and Brain Sciences, 1980. 3(3). P. 417 – 424.

A. A. Dotsenko
E. I. Arinin

**DIALOGUE OF SCIENCE AND RELIGION IN THE CONTEXT
OF THE PROBLEMS OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE (PROJECTS
OF IT SPECIALISTS, THEOLOGAINS AND RELIGIOUS SCHOLARS)**

The article is devoted to the problem of perception and evaluation of artificial intelligence (AI) in various fields of knowledge: information technology, theology and religious studies. A significant value gap is revealed in understanding the nature and consequences of the development of AI between the techno-optimistic approach of IT specialists, the critical protective position of theologians and the objective analysis of the phenomenon of sanctification of AI in religious studies.

Keywords: artificial intelligence, theology, religious studies, techno-optimism, transhumanism, ethics, anthropology, sanctification.

**«АД – ЭТО ДРУГИЕ» ИЛИ «АД – ЭТО Я»? ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНЫЙ
УЖАС И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В ФИЛЬМЕ «ЛЕСТНИЦА ИАКОВА»**

В данной статье анализируется фильм «Лестница Иакова» (1990) как художественный пример экзистенциальной и психологической интерпретации природы ада. Исследуется дихотомия понимания ада как продукта внешних социальных систем «Ад – это другие» и как внутреннего состояния психики «Ад – это я». Рассматривается, как герой проходит путь индивидуации, интегрируя свою Тень, в соответствии с идеями К. Г. Юнга. Проводятся параллели с теологическими взглядами М. Лютера в трактовке ада как личностно переживаемого состояния души.

Ключевые слова: фильм «Лестница Иакова», ад, другие, ответственность, архетипы личности, К. Г. Юнг, экзистенциальная философия.

В эпоху глобальных кризисов, пандемий, информационных войн, нарастающей тревоги старые экзистенциальные вопросы обретают новую актуальность. Когда мир вокруг кажется все более враждебным и нестабильным, мы невольно задаемся вопросом: где источник этого ужаса? Вне нас, в действиях других людей, систем и правительств? Или же все-таки он рождается внутри, в глубинах собственной психики? Фильм «Лестница Иакова» (1990, реж. Э. Лайн), снятый три десятилетия назад, сегодня считается пророческим исследованием этой философской дилеммы, предлагая мучительный, но очищающий взгляд на природу ада [3].

Что такое ад? Традиционные религиозные представления изображают его как место вечного наказания

и проклятия. Он находится в глубочайших недрах земли как место, противоположное Небесам. Библейские описания Ада представляют его царством незатухающего огня, где грешников постоянно терзают жар и пламя [2, с. 16 – 17]. Однако экзистенциальная философия и психология XX века совершили радикальный сдвиг, переместив ад извне внутрь человеческого бытия. Ад перестал быть пространственно понимаемой локацией и превратился в состояние сознания, продуктом отношений человека с самим собой. Фильм Эдриана Лайна «Лестница Иакова» 1990 года становится мощнейшей визуальной притчей, исследующей дихотомию: является ли ад проекцией искаженного «я» или же он ткется из зла, исходящего от других? [1].

Если следовать знаменитой максиме Жан-Поля Сартра «Ад – это другие», высказанной в пьесе «За закрытыми дверями», то муки главного героя, Джейкоба Сингера, – это последствие невыносимых отношений с окружающими [6]. Для Сартра ад – это не сковородки и серные озера, а невыносимая интенсивность взгляда другого, который замораживает и объективирует нас. Другой своим оценивающим, ограничивающим присутствием лишает нас свободы быть тем, кем мы хотим, навязывая нам жесткую чужеродную идентичность, и пытка заключается в постоянном ощущении себя объектом для чужого восприятия [5, с. 3 – 4]. В «Лестнице Иакова» этот принцип реализуется с пугающей буквальностью. Кошмары Джейкоба населены призраками жены, любовницы, сослуживцев, чьи лица искажаются в гримасы агрессии. Каждый взгляд, полный ненависти, становится новым витком пытки, превращая межличностное пространство в настоящее адское поле битвы. Эта идея находит поразительное воплощение в образе дантовского ада, где самые страшные муки предназначены именно предателям. В «Божественной комедии» низшие, ледяные круги ада отданы не убийцам, а тем, кто нарушил узы любви и доверия. Худшим грехом считается «предательство величия». В фильме таким предательством становится эксперимент армии над собственными солдатами. Государство, институт, призванный защищать, превращается в источник уни-

чтожения. Ад других предстает как ад системного, институционального предательства, когда те, кому доверял безоговорочно, становятся источником уничтожения [1, с. 705 – 706].

Однако «Лестница Иакова» предлагает и более глубокий, психологический взгляд: «Ад – это я». Эта концепция уходит корнями в идеи К. Г. Юнга о Тени – темной, непризнанной части психики. Само название фильма содержит ключ к его экзистенциально-психологической интерпретации, отсылая к фундаментальному библейскому сюжету из Книги Бытия (28:10 – 22). В нем патриарх Иаков, бегущий от гнева брата, видит во сне лестницу, стоящую на земле и достигающую неба, по которой восходят и нисходят ангелы. А наверху стоит Господь. Это видение – точка встречи земного и божественного, символ связи между человеческим и трансцендентным, обретение духовного пути. Для К. Г. Юнга этот образ становится архетипическим символом процесса индивидуации – героического пути личности к самой себе, от тьмы к свету, от фрагментации к целостности, от Тени к Самости. Архетип Тени охватывает те качества личности, импульсы и переживания, которые индивид не идентифицирует с собой и подсознательно отторгает. По К. Г. Юнгу: «Тень персонифицирует все, что субъект не признает в себе, и постоянно – прямо или косвенно – навязывается ему (например, дурные черты характера или прочие несовместимые тенденции)» [7, с. 343]. Восхождение по

лестнице к Самости – высшему архетипу, символизирующему полную реализацию и гармонию личности, возможно лишь через сознательное признание, принятие и интеграцию этой Тени. Ад, который переживает Джейкоб, и есть пространство этой встречи, мучительный, но необходимый этап на пути к целостности [8, с. 116].

Путь Джейкоба Сингера – это наглядная иллюстрация юнгианского кризиса второй половины жизни, где «лучезарное светило» его прежней идентичности – солдата, отца, мужа – вынуждено «опускаться за горизонт». Его нисхождение в кошмар – это и есть символический закат, медленное исчезновение в «ночном могильном сумраке» собственной вины и отрицаемой боли. В его реальности привычные символы действительно превращаются в свою противоположность: метро, несущее людей на работу, становится адской ловушкой; любимые люди – источниками мук; его собственное тело – полем битвы и разложения. Ему бросает вызов уже не жизнь с ее будущим, а смерть, требующая примирения с прошлым. Его борьба – это мучительная попытка совершить символический отказ от прежних иллюзий, достижений и жестких структур идентичности, чтобы принять свою уязвимость и тотальную конечность. Весь фильм – это его путешествие от иллюзорного покоя в «утробе» вытесненных воспоминаний к подлинному покою принятия своей смерти. И, оглядываясь на свое «приключение» в финале, Джейкоб

понимает, что его уникальный, мучительный опыт на самом деле является универсальным «рядом стандартных превращений»: путь через отрицание, гнев, торг и депрессию к принятию – это архетипический путь, который проходят все люди перед лицом неизбежного [7, с. 96].

Психологический феномен Тени в полной мере проявляется в кошмарах Джейкоба – это не вторжение извне, а выплеск подавленного ужаса, вины и неприятия себя. Герой винит себя в смерти сына, в разрыве с женой, в самом факте выживания. Демоны, преследующие его, – это персонализации неразрешенного внутреннего конфликта, его собственной Тени. Ад в этом случае не приходит извне; он гнездится в подсознании и лишь проецируется на внешний мир, заставляя видеть чудовищ в обычных людях. Самая страшная пытка – это пытка собственной памятью и совестью, от которых невозможно убежать, потому что палач и жертва объединены в одном лице. Концепция Юнга находит глубокие параллели в более ранней теологической мысли. В своих 95 тезисах Мартин Лютер утверждал, что истинный ад – это внутреннее состояние отчаяния, возникающее из сознания собственной греховности и оторванности от Божьей благодати [4]. Согласно 16-му тезису: «Представляется, что Ад, Чистилище и Небеса – различны меж собой, как различны отчаяние, близость отчаяния и безмятежность». Эта концепция радикально смещает фокус с внешнего

наказания на внутреннее переживание. Иными словами, в лютеровском понимании «Ад – это я» означает экзистенциальное отчаяние, порождаемое осознанием невозможности собственными силами достичь спасения, мучительным переживанием вины и чувством полной покинутости [4].

Сила воздействия фильма заключается в том, что он не выбирает одну из этих концепций, а показывает их трагическое слияние. Внешний ад и внутренний ад сплетаются в неразрывный узел, который и является истинной природой экзистенциального ужаса. Ответственность, которую должен принять на себя Джейкоб, это не просто ответственность за поступки, но и ответственность за то, как интерпретируется опыт, как человек соглашается или отказывается жить со своей болью. Фильм подводит к идее, что единственный способ пре-

одолеть ад – принять его как часть себя и пройти через него, а не пытаться забыть или подавить. Освобождение приходит не с выяснением внешней правды, а с внутренним примирением. Прощение себя и принятие своей боли – это и есть тот самый «отказ от дьявола», который позволяет душе подняться по лестнице к просветлению, завершив полный цикл от страдания к отпусканию. Финальное восхождение Джейкоба по светлой лестнице – это не только разрешение его личной драмы, но и визуальное воплощение завершения юнгианского пути индивидуации: он интегрировал свою Тень, примирился с демонами прошлого и теперь движется к архетипической Самости, к обретению утраченной целостности, следуя символическому пути, предначертанному библейским видением [7, с. 454 – 455].

Библиографические ссылки

1. Алигьери Данте. Божественная комедия. М. : Правда, 1982. 887 с.
2. Апостолос-Каппадона Д. Словарь христианского искусства. Челябинск : УРАЛ LTD, 2000. 266 с.
3. Кашеварова А. Н. Экзистенциальный шторм: от пустоты к смыслу [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://psy.su/feed/8121/?ysclid=mibxfalby6725997935> (дата обращения: 15.10.2025).
4. Лютер М. 95 тезисов. Диспут о прояснении действительности индульгенций [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://diletant.media/articles/35519789/?ysclid=mic66z49zi860575149> (дата обращения: 15.10.2025).
5. Сартр Ж. П. Бытие и ничто: Опыт феноменологической онтологии / пер. с фр., предисл., примеч. В. И. Колядко. М. : Республика, 2000. 639 с.
6. Сартр Ж. П. За закрытыми дверями [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://royallib.com/read/sartr_ganpol/za_zakritimi_dveryami.html?ysclid=mic06thseu914913049#40960 (дата обращения: 15.10.2025).

7. Юнг К. Г. Архетипы и коллективное бессознательное. М. : АСТ, 2019. 496 с.

8. Юнг К. Г. Душа и миф: Шесть архетипов. Киев: Государственная библиотека Украины для юношества, 1996. 384 с.

V. A. Erofeeva

M. S. Lyutaeva

**"HELL IS OTHERS" OR "HELL IS ME"? EXISTENTIAL HORROR
AND RESPONSIBILITY IN THE FILM "JACOB'S LADDER"**

This article analyzes the film *Jacob's Ladder* (1990) as an artistic example of an existential and psychological interpretation of the nature of hell. It explores the dichotomy between understanding hell as a product of external social systems (Hell is others) and as an internal state of the psyche (Hell is me). It examines how the protagonist navigates the path of individuation, integrating his shadow, in accordance with the ideas of C. G. Jung. Parallels are drawn with the theological views of M. Luther in interpreting hell as a personally experienced state of the soul.

Keywords: film "Jacob's Ladder", hell, others, responsibility, personality archetypes, C. G. Jung, existential philosophy.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

АЛИЕВА Диана Тельманова – старший преподаватель кафедры иностранных языков профессиональной коммуникации Владимирского государственного университета имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых, г. Владимир
diana.alieva4@yandex.ru

АНДРЕЕВА Людмила Сергеевна – кандидат философских наук
доцент кафедры философии и религиоведения Владимирского государственного университета имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых, г. Владимир
humbab@mail.ru

АНИН Анатолий Геннадьевич – доктор исторических наук, доцент
профессор кафедры истории России Владимирского государственного университета имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых, г. Владимир, профессор кафедры государственного и муниципального управления Владимирского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, г. Владимир
annin-ag@mail.ru

АРИНИН Евгений Игоревич – доктор философских наук, профессор
заведующий кафедрой философии и религиоведения Владимирского государственного университета имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых, г. Владимир
eiarinin@mail.ru

БАЗАЕВ Эдуард Борисович – аспирант кафедры философии и религиоведения Владимирского государственного университета имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых, г. Владимир
eduardbazaev@mail.ru

ГАРЬКИНА Ольга Валерьевна – ассистент кафедры философии и религиоведения Владимирского государственного университета имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых, г. Владимир
lyubolia@yandex.ru

ГУРИНА Валентина Владимировна – аспирант кафедры истории России Владимирского государственного университета имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых, г. Владимир, преподаватель Московского Финансово-юридического университета, г. Москва
valentinagurina@gmail.com

ДОЦЕНКО Артем Андреевич – аспирант кафедры философии и религиоведения Владимирского государственного университета имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых, г. Владимир
artyom.a.dotsenko@gmail.com

ЕГОРЫЧЕВА Мария Анатольевна – студентка кафедры социологии Владимирского государственного университета имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых, г. Владимир
mariaegorycheva06@gmail.com

ЕРОФЕЕВА Виктория Алексеевна – студентка кафедры философии и религиоведения Владимирского государственного университета имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых, г. Владимир
erofeevav978@gmail.com

ЛЮТАЕВА Мария Сергеевна – кандидат философских наук
доцент кафедры философии и религиоведения Владимирского государственного университета имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых, г. Владимир
liutaeva@yandex.ru

МАРКОВ Александр Викторович – доктор филологических наук
профессор кафедры кино и современного искусства Российского государственного гуманитарного университета, г. Москва
markovius@gmail.com

ЮДИН Кирилл Александрович – доктор исторических наук
профессор кафедры истории и культурологии Ивановского государственного химико-технологического университета, г. Иваново
kirill-yudin.hist@mail.ru

INFORMATION ABOUT THE AUTHORS

ALIYEVA Diana Telmanova – Senior Lecturer at the Department of Foreign Languages of Professional Communication of the Vladimir State University named after Alexander and Nikolai Stoletov, Vladimir
diana.alieva4@yandex.ru

ANDREEVA Lyudmila Sergeevna – PhD in Philosophy
Associate Professor of the Department of Philosophy and Religious Studies of Vladimir State University named after Alexander and Nikolai Stoletov, Vladimir
humbab@mail.ru

ANIN Anatoly Gennadievich – professor, Doctor of Historical Sciences
Professor in the Department of Russian History of Vladimir State University named after Alexander and Nikolai Stoletov, Vladimir, Professor of the Department of Public and Municipal Administration of the Vladimir branch of the Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration, Vladimir
annin-ag@mail.ru

ARININ Evgeny Igorevich – professor, Doctor of Philosophical Sciences
head of the Department of Philosophy and Religious Studies of Vladimir State University named after Alexander and Nikolai Stoletov, Vladimir
eiarinin@mail.ru

BAZAEV Eduard Borisovich – postgraduate student of the Department of Philosophy and Religious Studies of Vladimir State University named after Alexander and Nikolai Stoletov, Vladimir
eduardbazaev@mail.ru

GARKINA Olga Valerievna – assistant of the Department of Philosophy and Religious Studies of Vladimir State University named after Alexander and Nikolai Stoletov, Vladimir
lyubolia@yandex.ru

GURINA Valentina Vladimirovna – postgraduate student of the Department of History of Russia of Vladimir State University named after Alexander and Nikolai Stoletov, Vladimir, Lecturer at the Moscow University of Finance and Law, Moscow
valentinagurina@gmail.com

DOTSENKO Artem Andreevich – postgraduate student of the Department of Philosophy and Religious Studies of Vladimir State University named after Alexander and Nikolai Stoletov, Vladimir
artyom.a.dotsenko@gmail.com

EGORYCHEVA Maria Anatolyevna – student of the Department of Sociology of the Vladimir State University named after Alexander and Nikolai Stoletov, Vladimir
mariaegorycheva06@gmail.com

EROFEEVA Victoria Alekseevna – student of the Department of Philosophy and Religious Studies of the Vladimir State University named after Alexander and Nikolai Stoletov, Vladimir
erofeevav978@gmail.com

LYUTAEVA Maria Sergeevna – PhD (Philosophy)
Associate professor of the Department of Philosophy and Religious Studies of the Vladimir State University named after Alexander and Nikolai Stoletov, Vladimir
liutaeva@yandex.ru

MARKOV Aleksandr Viktorovich – Doctor of Philological Sciences
Professor of the Department of Cinema and Contemporary Art of the Russian State University for the Humanities, Moscow
markovius@gmail.com

YUDIN Kirill Alexandrovich – Doctor of Science (History)
professor Department of History and Cultural Studies Ivanovo State University of Chemistry and Technology, Ivanovo
kirill-yudin.hist@mail.ru